

Шамиль Алядин

Я — ВАШ ЦАРЬ И БОГ

повесть

«Там, где сжигают книги,
начнут рано или поздно сжигать людей».

Гёте

Уже некоторые сутки я ехал в воинском эшелоне. Прошло всего полгода, как кончилась война. Мимо окон проплывала израненная, обожженная земля, испещренная, словно оспой, воронками и окопами, над которыми все еще торчали деревянные ежи с рваной и заржавленной колючей проволокой. Почти все станционные здания были разрушены бомбежкой и хранили следы пожарищ. Но люди на перронах выглядели празднично, женщины были в ярких платьях. Даже стеганные телогрейки и грубые сапоги на ногах не умаляли их женственности, притягательности, красоты, от которых мы успели отвыкнуть за четыре с половиной года войны. Я видел, как вернувшиеся домой офицеры, солдаты, прыгнув с подножки вагона, оказывались в объятиях родных, детей, и к моему горлу подступали спазмы.

А что ждет меня? Неужели моя Фатма не выйдет встречать меня на вокзал? Неужели правда то, что я услышал от начальника нашего штаба? «В Крыму ваших никого нет! Поезжайте прямо в Среднюю Азию!» — сказал он мне. Как это так, никого нет? Я ему не поверил. Поговаривали, что фашисты собирались выслать из Крыма всех татар, раздать землю высокопоставленным чиновникам вермахта, а весь Южный берег превратить в место отдыха для одних только арийцев. Но ведь мы вышибли «арийцев» из Крыма? Так неужели же... Если — хоть это страшно представить себе и на минуту — все обстоит так, как мне сказал начальник штаба, то что тогда?

От этих мыслей мороз пробирал душу. Я сидел, уставясь в окно, ни с кем не разговаривая, не отвечая на вопросы, и мои соседи по купе, кажется, приняли меня за контуженого или глухого. На моих глазах счастливики обнимались с женами, топчя рассыпавшиеся цветы — не стесняясь слез, бегущих по их обветренным щекам, и у меня самого начинало щипать глаза, и все расплывалось в тумане.

Я сошел с воинского эшелона на Симферопольском вокзале 14 ноября 1945 года. Всего полтора года назад город был освобожден от оккупантов, куда ни взглянешь — следы уличных боев. Во многих домах зияют проемы без окон. Улицы замусорены, кругом запустение. О том, чтобы доехать до центра каким-нибудь транспортом, нечего и думать. И я пошел с вокзала пешком. Благо ничего, кроме вещевого мешка, который я перебрал на плечо, у меня не было. Дом, где я жил, находился в переулке Токтар-газы. Чем меньше до него оставалось — тем больше я ускорял шаги, хотя теперь уже знал почти наверняка, что там меня никто не ждет. И все же словно надеялся на чудо. Я вглядывался в лица редких прохожих. Ни один татарин не попался навстречу. Радость встречи, которую испытывает каждый человек, оказавшийся в родных местах после долгого отсутствия, вытеснилась горечью обиды, и была она столь велика, что не умещалась в сердце и рвалась наружу, слезы застилали глаза.

Почему я так унижен? Ведь от первого и до последнего дня войны я защищал человеческое достоинство каждого советского человека... Отчего же так жестоко обошлись со мной, поправ мою честь? А может, все это страшный сон? И я, пытаюсь отогнать от себя мрачные мысли, вновь ускоряю шаги, но очень скоро начинаю сознавать, что напрасны надежды: реальность — страшнее некуда. В ногах появлялась слабость, сердце куда-то падало, и я боялся, что и сам упаду. Мои шаги гулко отдавались на безлюдной улице, сломанная подковка на каблуке шаркала по мощенному кирпичом

мокрому тротуару, облепленному прелыми листьями. На мне серая длинная кавалерийская шинель с глубоким разрезом сзади, на плечах погоны с четырьмя звездочками. Шел я долго. Чем ближе к центру, тем становилось многолюднее. Я вглядывался в идущих мне навстречу людей. Думал, встречу знакомого, расспрошу о Фатме, о ребенке. Я все еще не знал, кто у меня родился, мальчик или девочка. Когда уходил на войну, жене оставалось до родов месяца три. Сколько потом ни писал, не получил от нее ни единого письма... Нет, все эти люди были мне незнакомы никогда прежде я их не видел на нашей улице. Как странно, ни одного земляка, ни одного крымца. Будто не в Крым, а невесть куда меня занесло. Я невольно начал озираться. Иду вроде бы по знакомой с юности улице имени Мустафы Субхи. Чтобы убедиться в этом, мне приходится искать глазами табличку с названием улицы. Но ее нет — сняли.

— Какая это улица? — спрашиваю у прохожего.

— Крылова! — отвечает тот хмуро и следует мимо.

Кому помешал Мустафа Субхи, руководитель коммунистической партии Турции, первый редактор коммунистической газеты «Ени Дунья» («Новый мир»), издававшейся в Крыму с 1919 года по октябрь 1941, вплоть до оккупации Крыма фашистами?

Сворачиваю вправо, в переулок, по обеим сторонам которого растут в ряд дубы. Высокие, кряжистые, они почти соприкасаются прозрачными в эту пору кронами. Это и есть переулок Шамиля Токтаргазы; летом он напоминает длинный зеленый тоннель. И здесь нет таблички с названием переулочка.

Ну а чем провинился пламенный революционер-демократ, классик крымскотатарской поэзии Шамиль Усеин Токтаргазы, которого злодейски убили беи феодосийского уезда в 1913 году? Он же отдал свою жизнь за светлое будущее. Потому и дали маленькому переулочку его имя. А теперь что же, безымянный переулок?

Вот и мой дом за решетчатым каменным забором, огромный, серый. В нем мы прожили совсем недолго. Наша квартира на третьем этаже. Прошло всего восемь месяцев со дня нашей с Фатмой свадьбы, как на рассвете 24 июня 1941 года на Севастополь упали первые немецкие бомбы...

Мне тогда было двадцать семь лет. Мои коллеги избрали меня председателем Союза писателей Крыма, и я третий год трудился на этом поприще. Планы у меня были большие, но, похоже, об этом надо было забыть. Чуть свет я поспешил в военкомат. В Союз писателей попал лишь после полудня. Он гудел, точно растревоженный улей. Срочно собрал членов нашего правления. Выступить с докладом не было времени. «Дорогие друзья! — обратился я к коллегам. — Через два дня я ухожу на фронт. Прошу обязанности председателя Союза возложить на кого-нибудь другого!»

Эти обязанности принял на себя мой старый товарищ Керим Джаманаклы.

26 июня Фатма провожала меня на Симферопольском вокзале. На переполненном людьми перроне мы стояли, не разнимая рук, и у меня не выходило из головы, как она останется тут одна, без меня, ведь ей скоро рожать. Мы оба думали об этом, но ни она, ни я не старались этого обнаружить. Когда наши взгляды встречались, мы улыбались, чтобы подбодрить друг друга.

Я не находил слов и бормотал одно и то же, как заклинание: «Не волнуйся, все будет хорошо... Все будет хорошо...»

Наконец, из Бахчисарая, древнего города, прибыл эшелон, битком набитый татарской молодежью. В вагонах пели старинные песни: «Шомпол», «Порт-Артур».

Не плачьте, родные, отец и мать!

Настали пора нам идти воевать,

Помолитесь, чтоб счастье от нас не отвернулось,

Чтоб домой мы живыми вернулись...

Мне удалось-таки втиснуться в один из переполненных вагонов. Поезд тронулся. Фатма осталась на перроне, грустно улыбаясь мне и утирая глаза. Перрон был так

запружен людьми, что у нее не было даже возможности сделать несколько шагов вслед за вагоном, и вскоре я потерял ее из виду...

Я был строевым командиром, командовал ротой, был дважды ранен. В первый раз очень тяжело. Во второй — полегче. Лечился в госпиталях. Попадал в окружение и с боями пробивался к своим. Тонул при форсировании Северного Донца. Горел, спасая коней из конюшни, в которую угодила фугаска. Все было... Все позади... И вот я стою и смотрю на темные окна родного дома.

Обошел примятый газон, пересек двор и открыл парадную дверь. Переступив порог, остановился, собираясь с духом. Я хорошо знал всех жильцов в нашем подъезде. Где они теперь? Живы ли? Я стал медленно подниматься по ступенькам, держась за перила. Вот дверь известного композитора Ягьи Шерфединова, некогда дружившего со знаменитым Спендиаровым. Приоткрыта. Из-за нее доносится мужской голос. Я невольно задержал шаги. Однако голос не похож на голос Ягьи-ага. Хозяин еще, должно быть, не вернулся из эвакуации. Тогда кто же в его квартире?

Я заглянул в дверь. Кого-то отчитывавший молодой человек в спортивных брюках и без рубашки поперхнулся словами и, выпучив глаза, воззрился на меня...

Я проследовал дальше. Вот третий этаж, наша дверь, обитая коричневым дерматином. С Фатмой вдвоем обивали, чтоб не дуло. Изрядно пришлось повозиться. И цифру «9» я сам к двери шурупам прикручивал. Нажал на кнопку электрического звонка, прислушиваясь к звонку в прихожей. Подождал. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Не знаю, сколько прошло времени, может, всего несколько секунд, но было такое чувство, что дверь не открывается целую вечность, Я снова нажал на кнопку звонка. В коридоре послышались торопливые шаркающие шаги. Дверь приоткрылась, насколько позволила длина цепочки. Я эту цепочку приладил за день до отбытия на фронт, чтобы Фатма не распахивала сразу дверь настежь. Через узкую щель на меня уставился глаз, в котором я заметил удивление и испуг.

Я поздоровался. Ответа не последовало.

— Откройте, пожалуйста! — сказал я, стараясь говорить спокойно, но голос у меня дрожал.

— Вы кто такой?.. — донесся из-за двери сипловатый мужской голос. — И. собственно, к кому?

— К себе домой! — ответил я. — Отсюда я ушел на фронт, а теперь вот вернулся! Моя жена Фатма оставалась тут!

— Вы ошиблись. Никакой Фатмы здесь нет. В этой квартире живу я и моя семья.

Незнакомец хотел было захлопнуть дверь перед моим носом, но я успел вставить ногу в щель.

— Не спешите, гражданин, — сказал я. — Разговор ведь не окончен. Объясните, по крайней мере, каким образом вы стали хозяином этой квартиры?

— У меня ордер, выданный горисполкомом! — сухо ответил, он и скороговоркой добавил: — Я начальник облупромстрой-сиабторга! Фамилия моя Фанковский! Если угодно, можете записать. Родом из Чаклина...

— А где же Фатма?

— Ваша жена, вы и ищите! — глаз Фанковского злорадно сверкнул, и он обрадовался пришедшей ему в голову мысли; — Пойдите, а кто ваша жена по национальности? Не татарка ли?

— Да, татарка! Я и сам татарин!

— Теперь все понятно, — протянул он, потирая лысину, и хихикнул. — Ваши все давно отсюда тю-тю-у!..

Он сразу повеселел, смекнув, что перед ним человек, хотя и в форме офицера, но без всяких гражданских прав, и никакой закон его защищать не станет.

— Как это «тю-тю»?! — возмутился я, сердце больно кольнуло, я стал терять опору; чтобы не упасть, пришлось опереться рукой о стену.

Решив этим воспользоваться, новоявленный хозяин моей квартиры попытался вытеснить мою ногу и закрыть дверь. Но не тут-то было, я не дал ему этого сделать.

— А вот так и «тю-тю»!.. — прошипел он, сверкая то одним вытаращенным глазом, то другим. — Они теперь там, где Макар телят не пас! Наконец-то избавились...

— А кому они мешали жить?.. Вам мешали?.. — заорал я, голос у меня срывался.

— Еще чего не хватало, чтобы они нам мешали, — ухмыльнулся он. — Да кто им это позволил бы? Разбойничье отродье! Не видать вам, басурманы, больше Крыма, как своих ушей, понял?! — и он толстым пальцем ткнул меня в грудь через дверную щель.

— Ты!.. Ты!.. — простонал я, не находя слов, прижимая руку к сердцу. — Ничтожество!.. Татары жили тут на протяжении тысячелетий и превратили Крым в райский уголок! Если кто и предал Родину, так это те, кто, надев форму немецкой регулярной армии, с немецким оружием в руках воевали против нас. Среди них не было крымских татар. И не тыкай в меня своим поганым пальцем! Мы не из пугливых! И на войне в кусты не прятались. Спроси у любого, кто ходил в атаки рядом с крымским татаринком, он скажет!

Но Фанковский, похоже, плохо понимал меня, да, пожалуй, и не слушал. К чему была ему моя исповедь? Он думал лишь о том, как бы побольнее ранить мое сердце, которое всю войну трудилось, точно хорошо отлаженный мотор, а тут вдруг начало давать перебои.

— Болтать-то вы можете все, — говорил он. — Не удивлюсь, если и военная форма на тебе чужая, и ордена не твои. Может, ты убил какого-нибудь офицера и напялил на себя его форму. Таких, как ты, нынче по Крыму знаешь сколько шныряет! Сбежали из тех краев, куда их отправили, переодеваются в демобилизованных из армии и шуруют по квартирам, грабят, убивают!

— Таких, как ты, сволочь! Я приехал из Вены, а не из «тех краев»! Дай мне войти в мою квартиру!

— Ограбить хочешь. Сейчас позвоню в военную комендатуру! — и, шлепая стоптанными тапками, побежал в комнату.

Я просунул ногу поглубже, подналег на дверь плечом, коленом. Конец цепочки с треском выскочил из паза. Дверь распахнулась и трахнулась о стену. В прихожую выскочил Фанковский, попятился и сразу исчез. Это был обрюзгший мужчина лет пятидесяти пяти, с сизым носом и мешками под глазами, в серой полосатой пижаме, застегнутой всего на одну пуговицу, поскольку куртка на животе не сходилась. Я слышал, как он набросил крючок, закрывшись в моем кабинете. Мне было не до него. Я пересек гостиную, зашел в спальню. Кровати, гардероб, большое трюмо, комод, старинный буфет и посуда в нем, стеллажи с книгами, ковры на полу, на стене — вес это мое, куплено мной. Я выдвинул один из ящиков буфета. Уходя на фронт, я положил сюда неоконченную рукопись. Конечно, было бы чудом, если бы она оказалась на месте. Вместо нее тут лежали ложки, вилки, тряпье. Перед войной я начал работать над пьесой «Ненкеджан-ханум» на историческую тему. Много раз ездил в Бахчисарай, долгие часы проводил в библиотеке ханского дворца, подбирая нужный мне материал. Крымскотатарский драмтеатр торопил меня, планируя эту пьесу поставить. Увы, помешала война...

Я резко задвинул ящик. Открыл шифоньер. В нем висели платья Фатмы, пальто с лисьим воротником, вязаная шапка, мой костюм, а внизу стояли резиновые боты. И от всего этого на меня повеяло нашим былым уютом, даже духами жены. На глаза мои навернулись слезы. Не было больше сил видеть это. Я резко повернулся и направился к выходу. Из-за двери моего кабинета доносился пронзительный голос Фанковского. Он кричал в телефонную трубку:

— Да, да! Скорее! Он грозитя меня убить! Я сильно толкнул дверь. Она открылась. Трубка выскочила из его трясущихся рук.

— Вы живете один? — спросил я.

— П-п-почему один? — его побелевшие губы дрожали. — У меня же-же-жена, дети, они сейчас придут, с минуты на минуту должны прийти!

— И как вы себя чувствуете среди всего этого? — окинул я взглядом комнату. — Не вашего, чужого?

— Ну, знаете ли... — развел он руками.

Я тихо закрыл дверь и вышел вон.

В углу двора еще до войны находилась маленькая сторожка. Она и сейчас была там. Зашел туда. Оказывается, наш дворник, Дядя Христофор, жив! Узнав меня, он вскочил, обнял за плечи и тихо заплакал. «Боже мой, боже мой, что с вами сделали — бормотал он. — За что? В чем ваша вина?»

— Дядя Христофор, — сказал я. — В нашей квартире поселился какой-то тип. Я не смог у него ничего узнать.

— Где моя Фатма, где её искать?

— Этого не знаю и я, сынок... Подъехали на рассвете на огромных военных грузовиках. В каждую квартиру заходили офицер и два солдата. Подняли с постелей стариков, женщин, детей, дали пятнадцать минут на сборы. Бедные люди одеться-то толком не успели, их вывели во двор, погрузили на машины и увезли. Многие думали, что на расстрел их везут, видели, как немцы это делали... Но нет — оказывается, на вокзал. А там — кто видел, потом рассказывал — запихнули всех в товарные вагоны и повезли куда-то, а куда, никто толком не знает. Год уже минул. Сейчас поговаривают, что в Среднюю Азию... Я, помнится, с перепугу в котельной спрятался, оттуда через грязное оконце смотрел. И твою Фатму видел, когда ее вывели и подсаживали в машину. Она у меня и сейчас перед глазами. В тоненьком старом пальто была. В одной руке узелок, а другой ребенка за руку держит. У тебя же дочка родилась...

— Дочь? — переспросил я.

— Дилярочкой звали. Ей уже четвертый годок пошел, — продолжал дядя Христофор. — Я притаился тут и боялся выйти...

— Эх, что же вы, дядя Христофор! — стукнул я кулаком о ладонь. — Может быть, она что-нибудь сказала бы! — сокрушался я.

— Я ведь... Меня ведь... — замялся старый дворник. — Всегда за татарина принимали...

— А у вас языка, что ли, нет? Да и паспорт...

— По паспорту-то я русский, а на самом деле... — он боязливо посмотрел на дверь, потом в окно и, понизив голос до шепота, произнес: — Грек я... Потом всех наших тоже выслали. И армян, и болгар, и турок. Всех! Из нерусских оставили только караимов и крымчаков. Самыми умными они оказались: при немцах говорили: «Мы не евреи, а крымские татары, и язык у нас крымскотатарский». Таким образом спаслись от фрицев. А когда явилось НКВД, заявили: «Мы евреи, и вера у нас иудейская!» Их и эти не тронули, оставили в покое...

— Дай-то бог, хоть так спасли себя. А вот где теперь мне своих искать, то ли в Сибири, то ли в Средней Азии?

— Если Бог есть, ты с ними увидишься. С улицы донесся подвывающий гул проехавшей машины. Я поднялся, поправил португеею и стал прощаться. Однако дядя Христофор глянул в окно и снова силком усадил меня. Я заметил выходявших из нашего подъезда офицера с солдатами. Когда только они успели тут появиться? От внимания же старого дворника ничто не укрывалось. Он видел, как они вошли в подъезд, и ждал, когда уйдут занимал меня разговорами.

Дядя Христофор налил в эмалированную кружку густо заваренного чая, придвинул мне. Долго еще мы сидели со старым греком и беседовали о былом. Близился вечер.

— Уж и не знаю, свидимся ли еще, — сказал я, поднимаясь.

Мы распрощались, и я вышел из сторожки. Пересек двор и направился за ворота...

На тротуаре стояли солдаты внутренних войск специального назначения. Шестеро. Все вооружены. Лейтенант, двое старших сержантов и трое рядовых. Лейтенант

остановил меня, даже не подумав отдать честь старшему по чину, потребовал предъявить документы. Проверив их, сунул к себе в нагрудный карман и кивнул сержантам. «Не двигаться!» — раздался грозный голос у меня за спиной. Меня обыскали, вывернув карманы, ощутив голенища, переверошив все в вещевом мешке. Один из сержантов сильно толкнул в спину, так, что едва не слетела фуражка: «Шагай, шагай, не оглядывайся, потомок Чингизхана!»

Я шел впереди, они сзади, отпуская по моему адресу насмешки, смеясь. «Что же это такое? — у меня все плыло перед глазами, заплетались ноги. — Свои взяли в плен? Свои ли?»

— Не оборачиваться!

Когда мы повернули на Советскую улицу, то я увидел напротив республиканской библиотеки огромный жарко пылающий костер. Высокое приплясывающее пламя высветило почти всю улицу, рыжие блики скользили по стенам домов, карнизам крыш.

— Пожар, что ли? — обеспокоено спросил лейтенант.

— Не-ет! — ответил сержант. — Книги сжигают! На их собачьем языке. Все до единой. Чтобы ничего татарского тут не осталось.

Нас нагнала полуторка. Лейтенант остановил ее. Приказал мне влезть в кузов, а сам сел в кабину. Остальные разместились в кузове так, чтобы я оказался в середине и не смог дать стрекача.

Привезли меня на железнодорожный вокзал, сдали коменданту. Лейтенант швырнул ему на стол мои документы, с усмешкой заметив: «Еще один заяц!»

Выходит, я не первый?

Комендант жестом указал мне на скамью и стал переписывать данные моих документов в большую амбарную тетрадь.

У меня подламывались ноги, и я обрадовался представившейся возможности сесть. По обе стороны от меня расположились солдаты с автоматами. С остальными же лейтенант вновь отправился в город — вылавливать, как я понял, крымских татар, которые беспрерывно прибывали, демобилизуясь из воинских частей.

Четыре часа просидел я в комендантской комнате между двумя хмурыми солдатами. К перрону прибывали поезда с тускло светящимися окнами и отъезжали. Сновали люди. Доносились их приглушенные голоса и гудки паровозов. Сквозь запотевшие стекла окна комендатуры я видел, как мимо прошел мужчина в белой куртке с корзиной, накрытой полотенцем, — продавал то ли булочки, то ли пирожки. Я был голоден. За весь день не было во рту и маковой росинки. Я обратился к коменданту:

— Пусть мои документы полежат у вас, я отлучусь с вашего разрешения в буфет, купить что-нибудь поесть.

— Не положено.

— Но я хочу есть!

— Я тоже не прочь, да буфет далеко, на том конце перрона...

— Послушайте, куда я денусь без документов. Я готов пойти дальше, чем на тот конец перрона, чтобы купить хлеба...

— Придет смена охраны, тогда посмотрим...

Смена не пришла. Ближе к утру из Севастополя прибыл поезд, которого тут, видно, ждали. Комендант металлическим голосом приказал мне встать и следовать впереди конвоя. Когда меня вели по слабо освещенному перрону, я заметил полковника госбезопасности, который стоял у будки с сельтерской водой и разговаривал с кокетничавшей продавщицей. Я шагнул к нему:

— Товарищ полковник, разрешите обратиться!

— Кто такой? — выпучил он глаза. — Татарин?

— Так точно! — ответил я.

— Не разрешаю! — взвизгнул он, багровея.

Солдаты подтолкнули меня стволами автоматов, я споткнулся и зашагал дальше, мысленно кляня всех, кто был причастен к этому горю, постигнутому мой народ, мою Фатму, ребенка, меня самого. И успокаивал себя лишь тем, что напишу, как только выпадет возможность, письмо товарищу Сталину, сообщу ему о том, как в Крыму надругались над советскими воинами потому только, что они коренные крымцы. Он-то уж разберется. Спросит с виновных...

Мы пересекли несколько железнодорожных путей, перепрыгивая через рельсы, а где и подныривая под составы, переходя через тамбуры стоявших вагонов, и, наконец, подошли к товарняку со старой военной техникой и стройматериалами. На платформах стояли танки без стволов и гусениц, покореженные пушки, бронетранспортеры с обгоревшей резиной на колесах и пробоинами; все это, наверное, собрали на местах боев и теперь везли на переплавку. Несколько платформ нагружены бревнами-кругляками и досками. Примерно в середине состава находился вагон, на котором крупными белыми буквами было написано:

«ВОЕННЫЕ ЛОШАДИ ИЗ ВЕТЛЕЧЕБНИЦЫ КАРТАЛ-КАЛЕ¹». К нему меня и подвели. В левом углу двери висел большой замок. Комендант, скрежетнув ключом, отпер его и снял с петель, солдаты толкнули дверь, и она откатилась на шарнирах немного в сторону. Меня неожиданно схватили втроем и кинули внутрь. Дверь захлопнулась.

Я, падая, ударился лицом об пол. Поднялся, пощупал щеку. Под рукой пощипывало. Вокруг меня слышались какие-то шорохи, я стоял, боясь пошевелинуться; двинет сейчас какая-нибудь лошадь копытом. Поезд тронулся. Меня качнуло, я споткнулся о чьи-то ноги и снова чуть не упал. Похоже, тут, кроме меня, есть кто-то еще... В маленькое, оббитое колючей проволокой оконце под потолком проник свет от проплывающего мимо пристанционного фонаря, и я увидел сидевших, сгрудясь по углам, людей, настороженно глядевших на меня. Возле стены напротив я заметил гнилую солому, перемешанную с навозом. Я разгреб ее ногой, расчистил себе место, бросил на пол вещевой мешок и сел.

Люди в темноте тихо переговаривались. Голоса их тонули в грохоте железных колес, и я никак не мог разобрать ни единого слова. Как они оказались здесь? Быть может, такие же несчастные, как я?..

Поезд набирал скорость. Людям пришлось говорить погромче, чтобы слышать друг друга, и до моего слуха донеслись татарские слова. «Выходит, они такие же отверженные, как и я, — подумалось мне. — Их постигла та же участь...» Глаза мои стали постепенно привыкать к темноте, и я теперь уже мало-мальски различал их силуэты. Пожалуй, надо заговорить с ними, расспросить, кто они и откуда...

Но меня опередили.

Мужчина крепкого сложения, с небольшими, как у жителей горных крымских деревень, усиками, приблизился ко мне и встал напротив, широко расставив ноги. В темноте я заметил блеснувшие на его плечах погоны.

— Кто вы? — резко спросил он. — И что вам тут нужно?

— Я капитан, сами видите, — безразличным тоном ответил я. — Как, впрочем, и я вижу, что вы подполковник... И в этом скотском вагоне мне абсолютно ничего не нужно. Впихнули сюда, и все!

— Это мы наблюдали, — усмехнулся подполковник. — Таким макарком обычно закидывают... провокатора в камеру к заключенным. Если собираетесь шпионить, вышвырнем к чертовой матери из вагона!

— Как же, интересно, вы это сделаете? — любопытствовал я, стараясь говорить как можно спокойнее, хотя внутри у меня все клокотало. — Дверь снаружи заперта, окно оплетено проволокой...

— Ничего, это совсем не сложно, — подал голос, поднимаясь с места, кряжистый молодой мужчина в морском бушлате и бескозырке; он подошел и остановился рядом с

¹ Картал-Кале — Орлиная крепость.

подполковником, подперев руками бока, так, что разлетелись полы расстегнутого бушлата. — У нас есть чем сделать вас потоньше, пролезете в любую щель,— на ремне у него висел морской кортик.

— Думаю, дело до этого не дойдет,— сказал я. — Неделю назад я демобилизовался в Вене. И вот приехал домой...— развел я руками с горькой усмешкой.

Помолчав немного, начал было рассказывать, что со мной произошло, но подполковник грубо прервал:

— Отставить! Нам всем есть о чем порассказать, да только не до сантиментов!

— Тогда чего же вы от меня хотите?

— Вы крымский татарин?

— Разумеется. Иначе не оказался бы здесь.

Подполковник с ног до головы окинул меня взглядом, как бы оценивая, на что я годен, и сел на пол рядом со мной. Матрос вернулся на место.

— Скажите, вы намерены смириться с этим, терпеть этот позор?

— На войне тоже всякое бывало,— сказал я. — Там были и умные офицеры, и тупые самодуры. Однако приходилось подчиняться и тем, и другим. Мы люди военные...

— На войне обязывает устав!

— А в мирной жизни?

— Растоптана Конституция! Поругано самое святое — наша честь! Мы, защитники Родины, победившие фашизм, объявлены предателями! Нужно быть круглым идиотом, чтобы не видеть, что это нужно было тем, кто с фашистами заодно!

— В этом вы, наверное, правы. Давайте напишем коллективное письмо товарищу Сталину.

— Япарым мен онынъ башыны! — крепко выругался подполковник и словно обдал меня ушатом холодной воды; меня взяла оторопь, пропало желание разговаривать с ним; у меня не было ни малейшего сомнения, что, сказать такое про нашего вождя, с именем которого мы, как с развернутым знаменем, бросались в атаки, человек, преданный своей Родине, не может. И я невольно отодвинулся от него. А он все гнул свое:

— В то время, когда мы добивали фашистов в их логове, наших близких, наших родных, наших жен, детей выталкивали из домов и гнали неизвестно куда! — голос у него сел, будто его душили слезы. — И вы думаете, что усач всего этого не знал?

— Тогда не знаю, кому верить и как жить дальше,— вздохнул я.

— Верить и полагаться можно только на себя! Нам бы только вырваться из этой западни! А там бы мы знали, что делать... — он похлопал себя по карманам и с сожалением произнес: — Как назло, никакого оружия. Пистолет сдал при демобилизации. Именная шашка была, и ту особист отобрал. «Зачем вам, дорогой Рустем Меметович, эта штука? Не надоело вам ею махать? Зачем она вам дома, разве что дрова колоть? Или, может, хотите повесить на ковре над диваном и мнить себя Александром Македонским? Оставьте в полку на память. Она займет достойное место в нашем музее...» Я сдуру и оставил. Эх, если б знать! А особист, гад, знал, какая меня ждет участь, и словом не обмолвился. Сейчас бы мне эта шашка ох как пригодилась. Рассек бы надвое этого коменданта, который загнал меня в эту конюшню, а потом бы и себя...

— Себя-то зачем?

— А как жить? — он закрыл ладонью глаза и долго сидел молча; мне показалось, он плачет.

В углу вспыхнула спичка, несколько рук потянулись к огню, чтобы раскурить самокрутки.

— Кто там? — спросил я у подполковника. — Наши?

— Кто же еще! Кто, кроме крымских, может быть в этом вагоне? Не знаю, чем мы не угодили усачу...

— Он разве один в Политбюро? — заметил я.

— Боятся, наверное, — вставил моряк, прислушивавшийся к нашему разговору, и крепко затянулся, сигарка его ярко вспыхнула.

— А нам не было на фронте страшно?! — воскликнул Рустем Меметович. — Но мы знали, за что воюем, случалось, с шашками шли против танков! Или нам жизнь была не дорога? А они там...

Да все они с ним заодно!

Из темноты вдруг донесся женский голос, столь неожиданный тут, что у меня екнуло сердце:

— Он татар невзлюбил даже за то, что в Крыму много кипарисов! Они, видите ли, напоминают ему кладбище...

— Вся Испания и Италия в кипарисах! — сказал я. — Там они считаются украшением.

Я стал вспоминать о том, как татары издревле старались украсить свою землю и с каким трудом им это давалось. Как они на себе таскали в мешках землю на каменные террасы горных склонов, из года в год расширяли там плодородные участки, разводили виноградники, сажали табак. А чабаны, когда пасли овец на горных и лесных пастбищах, примечали, где растут дикие яблоньки, груши, сливы, и в следующий раз, отправляясь в эти места с отарой, брали с собой, втыкая за пояс, свежие черенки лучших сортов фруктов и прививали. Поэтому в крымских лесах часто можно набрести на деревья с прекрасными плодами... Я об этом писал в своих книгах.

Рустему Меметовичу, как выяснилось, довелось до войны прочесть кое-что из моих произведений. Разговор у нас стал более спокойным и доверительным.

— Вот вы, из интеллигенции, когда успели изучить военное дело? — спросил он.

— В червонноказахьем полку. Окончил полковую школу, потом командовал отделением, взводом.

— Где начинали?

— В Старом Константинове. А вы?

— Я шестнадцать лет как в армии. Начинал с рядового. В конце войны командовал артиллерийским полком. А теперь... — Он криво усмехнулся: — Удостоился чести оказаться в этом вагоне первым. Меня задержали в Джанкое и заперли тут... с лошадьми. Путешествую уже четвертые сутки...

— А где же лошади?

— Выгрузили на станции Алма. Принимавшему лошадей старшине я сказал, чтобы кто-нибудь из солдат прибрал здесь, а он махнул рукой: «Сойдет и так! Скажи спасибо, что тебя пешком не погнали...» Мне, полковнику... Теперь я — никто. Все мы — никто!

На потолке вдруг замигала и загорелась тусклая лампочка, настолько засиженная мухами, что свет из нее едва сочился.

Подполковник долго вглядывался в циферблат наручных часов, но никак не мог разобрать, на какой цифре замерла малая стрелка. Подошел моряк, наклонился, придерживая кортик:

— Десять минут третьего, — сказал и снова вернулся в угол. Поезд мчался со страшным грохотом, вагон раскачивался и скрипел. Лампочка то гасла, то загоралась.

Трое или четверо встали и принялись отгребать ногами гнилую солому в сторону, к двери, чтобы при случае выбросить наружу. Среди них были две молоденькие женщины в военной форме. Они где-то нашли рваную фуфайку и стали ею подметать, стараясь не поднимать пыль. У стены лежала другая женщина, укрытая шалью, то ли была больна, то ли спала. Подруги постелили возле нее шинели и улеглись рядышком, пытаясь уснуть. Моряк подошел и сел неподалеку от них, будто оберегая их покой.

Мужчины кто сидел, кто лежал на голом полу, их было человек двадцать. Все военные. Рустем Меметович толкнул меня локтем:

— Идемте. Познакомлю вас с попутчиками. Еще неизвестно, сколько продлится наше путешествие...

Мы подошли. Рустем Меметович кивнул на человека, который сидел, обхватив колени. Он был помоложе его, через всю щеку, от виска до подбородка, протянулся глубокий шрам.

— Майор Аксеит Куку.

Тот кивнул слегка и улыбнулся. Рядом сидел, вытянув ноги, молодой подполковник с седыми висками; брюки и гимнастерка на нем новые, но довольно заношенные, на груди, повыше карманов, белесые пятна, которые обычно проступают после многокилометровых переходов; сапоги, однако, не офицерские, кирзовые; зато погоны сверкали как начищенные.

— Подполковник Осман Мангуш, — представил его Рустем Меметович. — Командовал группой разведчиков. Всего за несколько дней до конца войны был тяжело ранен. Настоял, чтобы пораньше выписали из госпиталя, — домой спешил...

Лежал на шинели, подложив под щеку руку, пожилой седой полковник. На груди у него мерцали три ордена Красного Знамени и орден Александра Невского. Тут у всех были ордена и медали, но трех орденов Красного Знамени и ордена Александра Невского не было ни у кого. Глаза у него были открыты. Он о чем-то думал. А что еще остается людям, оказавшимся в подобном положении? Благо, хоть этого права думать их не лишили.

— Керим Бекиров, — представил его Рустем Меметович, и тот передернулся, будто согнал муху с щеки. — Приехав, узнал от соседей, что жену и детей расстреляли фашисты за то, что помогали партизанам... Теперь рассчитывает разыскать своих стариков, отца, мать...

Он познакомил меня еще с несколькими майорами, лейтенантами, рядовыми.

В противоположном конце вагона, тоже в углу, особняком сидело несколько человек в какой-то странной, почти экзотической одежде, и, если бы они не переговаривались на нашем языке; их можно было принять за иностранцев.

Один в глубоких войлочных башмаках и широких белых шароварах, какие носят, наверное, где-то в Египте; другой — в полосатом камзоле и феске с кисточкой; третий — в миниатюрной фетровой шляпе и прошитом в клетку ватном костюме; четвертый — в картузе с длинным козырьком. Лица у всех болезненно-бледные, худые.

Женщина, укрытая шалью, застонала, переворачиваясь на другой бок. Моряк заботливо поправил на ней шаль.

— А женщины? — спросил я. — Кто они?

— Военфельдшеры, — сказал Рустем Меметович и кивнул на подметавших недавно пол подружек, которые уснули, прижавшись друг к дружке. — Элида и Фазиле.

Та, что была укрыта клетчатой шалью, приподняла голову, поправляя сползшую с волос косынку, и посмотрела на меня. Кажется, она беременна. И самочувствие у нее, судя по всему, неважное...

— У вас есть тут кто-нибудь из близких? — спросил я у нее. Она уронила голову на руки и всхлипнула.

— Мы все ее близкие, — пробормотал моряк и обратился к ней: — Ладно, не плачь. Моя мать рассказывала, что в телеге меня родила.

— Это Эльзара. Муж у нее русский, агроном, — сказал Рустем Меметович. — Сама учительница, преподавала в школе географию... Год назад, когда наших выселяли, муж спрятал ее и целый месяц не выпускал на улицу. Соседи писали, доносили. Но, как только приедут за ней, он ее прячет. Так и прожили год... А вчера он отлучился в Бахчисарай. В его отсутствие и подъехали к их дому четверо военных на грузовой машине, выволокли ее из дому и привезли на станцию Сюйрен, где и впихнули в наш вагон... Что же это за люди такие? Какое надо иметь сердце, чтобы беременную женщину заставить покинуть дом и затолкать в вагон для скота? Ну, никак не укладывалось у меня в голове, что так могут поступать наши же, советские солдаты. «Что бы ты ни говорил, — мысленно обратился я к Рустему Меметовичу, — а товарищ Сталин вряд ли знает обо всем этом!»

Я опустил на корточки, прислонясь к стене, между моряком и мужчиной в английской зеленой шинели; на спине у него был выведен желтой краской шестизначный номер. На голове черный берет с белым пером, на ногах зашнурованные сапоги с высокими голенищами.

— Откуда вы? — спросил я, дружески хлопнув его по колену;

— Эх, и не спрашивайте,— вздохнул он. — И в страшном сне не приснится, что со мной было... Мы держали оборону под Старобельском. Комроты приказал: «Ни шагу назад!..» Через несколько минут его осколком, наповал... А фрицы напирают. Два соседних взвода отступили. А наш командир: «Стоять насмерть! Отомстим за комроты!..» Ну, мы и стояли, пока патроны не кончились. Все полегли. Остались в живых только я, рядовой Селим Икмет, и командир взвода Зайцев. И то оглушенные. Рядом снаряд разорвался, нас засыпало землей. Я думал, что мертв уже... А тут раскопали, вытащили. Гляжу, немцы вокруг. «Шнель, шнель!..» Словом, попали мы в плен. Отправили нас в Австрию. По дороге Зайцев пропал, не знаю, сбежал или сгинул где. А меня долго мытарил по разным лагерям. Дважды убежал, но оба раза поймали. Били до полусмерти резиновой дубинкой по печени, почкам, все внутренности, гады, отбили. И, отправили после этого в концлагерь Мельк.

Здесь заставляли военнопленных работать под землей, на заводе. Содержали нас, как рабов. Поговаривали, что отсюда только два пути — либо на тот свет, либо в концлагерь Эбензее, где фашисты проводили какие-то эксперименты над людьми. Кормили жутким пойлом, а работа тяжелая. Я никогда не был слабаком, но тоже еле ноги таскал. Люди дохли, как мухи... Когда решили, что от меня тут нет уже никакого толку, то переправили в концлагерь Эбензее.

Вскоре я убедился, что слухи про этот лагерь были неспроста. Тут было полно врачей. И, знаете, какие-то странные у них у всех были глаза. Они не просто смотрели, а словно бы выбирали из нас подходящий экземпляр. Мы для них были все равно что кролики... Дважды меня помещали в камеру и запускали газ — проверяли, видно, какую дозу человеческий организм может выдержать. После первого раза я отдышался. А через четыре дня меня снова поместили в эту же камеру, и я понял, что они это будут повторять до тех пор, пока я не отдам концы... И однажды я действительно испустил дух. Они швырнули меня на штабеля мертвецов, которых крематорий не успевал сжигать. Но ночью господь вернул в мое грешное тело душу, и я пришел в себя. Мертвецов не было надобности охранять, сюда не доходил свет прожекторов, и мне удалось благополучно переползти в другую зону. Меня подобрала французы. Они дали мне шинель их погибшего товарища. Я и прожил все остальное время с его номером. Меня никто не трогал — человек, числившийся под этим номером, был списан, в списках не значился... Шестого мая сорок пятого нас освободили союзные войска. Меня уговаривали остаться на западе, говорили, что всех татар из Крыма выслали — я не поверил. Стосковался по близким своим и по Крыму. Приехал. А тут вот что... Даже до дому дойти не успел, издали только его и увидел, схватили меня и — в этот вагон...

Начинало светать, щели в стенках вагона стали приметнее. Элида и Фазиле проснулись; продрогнув, они сидели, прижавшись друг к другу плечами, и слушали.

— Все это какое-то недоразумение,— сказал я. — Думаю, скоро все прояснится, разберутся...

— Тьфу! — сплюнул Рустем Меметович, раздраженный моими словами. — Год прошел, как наших выслали! По-вашему, это малый срок, чтобы разобраться?

— Трудно что-либо понять, — мотнул я головой. — Все перемешалось. Почему-то нас винят в предательстве...

— А вы что хотели, разве мерзавец скажет, что он мерзавец? Хорошо, давайте разберемся спокойно. Я воюю с фашистами, не щадя жизни, а в это время всех моих близких, моих детей выгоняют из дома! И не просто из дома — вообще с родины! Так скажите мне, я предал или меня предали!?

Полковник Керим Бекиров резко сел, на груди у него звякнули ордена. Поежившись от холода, он запахнул на груди отвороты шинели и из-под взлохмаченных седоватых бровей в упор глянул на Рустема Меметовича:

— Твой язык. Калганов, до добра тебя не доведет! Чем впустую рассуждать, поинтересовался бы лучше у людей... — он кивнул на тех, что сгрудились в противоположном конце вагона, — ...угодивших из огня да в полымя, есть ли у них хоть крошка хлеба? Вряд ли снабдили их сухим пайком, выпуская из концлагерей...

— Нам не привыкать терпеть голод, — заметил Селим Икмет и принялся расшнуровывать французские сапоги.

— Думаю, пора перекусить чем бог послал. Зовите их всех сюда, — полковник взял лежавшую с ним рядом брезентовую сумку и бросил ее нам, она со стуком грохнулась об пол. — Пошарьте, в ней кое-что найдется пожевать.

Моряк подтянул за длинную ляжку сумку к себе поближе, вынул из нее галеты, буханку хлеба, кусок колбасы, две банки печеночного паштета и разложил все это добро на сумке. Я уже знал, что зовут его Назим. Служил на Черноморском флоте, родом из деревни Фотисала, у подножья Ай-Петри.

— Ого, да тут на целую роту! — обрадовался моряк. — Придвигайтесь! И вы идите сюда! — махнул он недавним узникам. — Все, все! Мы теперь на борту одного судна; если выплывем, то все вместе, а потонем — так тоже вместе, — он кортиком нарезал хлеб на мелкие части.

У других тоже нашлось кое-что съестное.

Одна из женщин, жуя бутерброд с колбасой, то и дело поглядывала в мою сторону. Наши взгляды встретились, она улыбнулась, как обычно улыбаются знакомому. Я тоже улыбнулся. Была она молода, красива, военная форма, пилотка со звездочкой очень шли ей.

— Меня зовут Элида Чкала. Я из Мисхора, — сказала она, покончив с бутербродом и уткнув подбородок в прижатые к груди колени. — Я вас узнала. До войны вы приезжали к нам с поэтом Максудом Сулейманом и выступали в Доме культуры.

— Элида, — с удовольствием повторил я. — У вас чудесное имя, очень подходит вам... Узнать бы, что ждет нас завтра. Чабаны лишились своих горных пастбищ, табаководы чаиров, виноградари склонов родных гор, все мы лишились родины и подобны стае птиц, которую подхватил смерч и несет неизвестно куда.

Как это страшно, когда судьба людей не зависит от них самих... Скажите, Элида, как вы-то здесь оказались?

— Как и все, — грустно усмехнулась она. — Демобилизовалась в Будапеште. Приехала в Мисхор — дом наш занят. Какие-то чужие люди... меня не пускают. Прожила несколько дней у соседки, Зинаиды Степановны. Смотрю, обстановка у нее вся наша. «Успела, — говорит — перетащить, когда родителей твоих выслали. Не отдавать же чужим, я как-никак соседка, ведь душа в душу жили!» Куда ни глянешь, незнакомые лица. Куда ни зайдешь, слышишь о татарах только плохое. А те, кто говорит, татар-то и в глаза не видели. Еще не обжились, а уже комнаты курортникам сдают, за сутки по три рубля дерут. Так тяжело было смотреть на это. Поехала я в Ялту на катере — работу подыскать да комнатку, если повезет, снять. Зашла в военный госпиталь прямо к начальнику, так и так, говорю ему, ищу работу. Есть, отвечает, работа. Попросил предъявить документы, взял, посмотрел, велел подождать и вышел. Сижу, радуюсь удаче. Жду. Вдруг заходит чуть ли не целый взвод солдат, берут меня под руки и повели, как миленькую. Посадили в грузовик, расселись вокруг с автоматами и повезли через Ай-Петри прямо на станцию Сюйрен. Сижу, окаменела вся и слова вымолвить не могу, даже слез нет. Смотрю на них, на этих молодых ребят, и глазам своим не верю: ведь я с такими же до Будапешта дошла, раненых из-под огня вытаскивала... Так вот оказалась тут, — вздохнула она и посмотрела на подружку, устремившую застывший взгляд в одну точку. — И ее там же... В тот же госпиталь пришла на работу наниматься...

Где-то всходило солнце. Через вагон, от стенки до стенки, протянулись лучи. Заморив червячка, люди расплзлись по своим местам. Некоторые вновь уснули на голых продуваемых досках, другие лежали с закрытыми глазами.

И я, прислонясь к стенке, тоже закрыл глаза. Мне кажется, я не спал, но мне привиделся сон. Иногда так бывает. Может, и вздремнул самую малость, секунд на десять-пятнадцать, и в это время успел увидеть чудо: будто вхожу в свою квартиру в переулке Токтаргазы, а навстречу мне, раскинув руки, бросается Фатма...

Всякие сны доводилось мне видеть на войне. Порой это были кошмары, и я, проснувшись, радовался, что всего-навсего видел сон. А сейчас, когда сон сменился страшной явью, крайне огорчился.

Мне приходилось видеть сны на ходу, во время пеших переходов. Помню, однажды летом спешили мы к Николаеву. Не отдыхая, шли всю ночь. На рассвете должны были войти в Николаев. Мы так устали, что буквально валились с ног. В конце концов в шеренге по четыре человека взяли друг друга под руки, чтобы не падать, и так поочередно спали. И, представьте, многим снились сны...

Бывали случаи, когда после стремительной атаки вся рота падала на землю и засыпала, и пытаться поднять ее было совершенно бессмысленно. Минут через десять-пятнадцать солдаты вставали сами, готовые снова идти в атаку...

Состав иногда останавливался и трогался вновь. Теперь лучи пересекали вагон наискось с другой стороны. Судя по ним, было уже за полдень. Двери вагона никто не открывал.

— Они про нас забыли? Или считают за скотов? — возмущался Рустем Меметович; на одной из остановок он подошел к двери и стал ее пинать: — Эй, есть там кто-нибудь, черт возьми?

— Что вы там беснуетесь? — донесся голос снаружи.

— Откройте дверь!

— Не положено.

— В туалет надо, растак твою мать!

— Валяй в штаны, — раздался смешок.

— Ты кто такой? Назовись! — наивно потребовал подполковник Калганов.

— Я приставлен глядеть за вами, чтоб не сбежали. А фамилию вам знать не обязательно.

Моряк тоже подошел к двери и заколошматил кулаком:

— Открой, слышишь! У нас тут женщины. Совесть у тебя есть?

— А тебе с бабами плохо, что ли? Я об том только и мечтаю, чтоб меня где с бабой заперли! — и снова смех.

Попадись мне в руки такой тип на фронте, я бы его, наверное, пришиб. Я поднялся и тоже подошел к двери, как можно спокойнее произнес:

— Послушайте! Мы войны Советской Армии, дошли с боями до Берлина. Откройте, дайте глотнуть свежего воздуха.

— Чингизханово отродье вы, а не воины. На следующем полустанке открою, поезд уже трогается. Минут через двадцать пять будет остановка.

Состав дернулся. Под ногами солдата зашуршал гравий. Он, видно, побежал и запрыгнул на подножку тамбура нашего вагона.

Солдат не обманул. Поезд вскоре действительно остановился. Дверь со скрежетом отворилась. Напротив стояли в ряд человек двадцать с автоматами. За ними тускло поблескивали три или четыре линии железнодорожных путей, которые вдали, слева и справа, смыкались. Какой-то разъезд. За линиями виднеется будка, там, наверное, дежурный. Чуть правее от нее сереет кирпичное строение без крыши: наверно, это и есть то место, для посещения которого нам открыли дверь.

— Десятерым пассажирам из люкса можно выйти! — весело крикнул молодой сержант, заглядывая внутрь вагона. — Остальным оставаться на местах!

Мы помогли женщинам спуститься на землю, следом за ними вышли несколько мужчин. Солдаты задвинули дверь и набросили щеколду.

Пока мы находились в туалете, двенадцать вооруженных солдат окружили убогое строение, стояли и ждали. «Скорее! Скорее! Не расслаживаться!» — поторапливал сержант.

Кто выходил, тому велено было повернуться к стенке и стоять, не двигаясь.

— Послушайте, сержант, вы ведете себя так, будто мы с вами враги, — сказал я, вынужденный повернуться к стене.

— А то друзья, — усмехнулся сержант.

— Разве не вместе били мы фашистов?

— Кто бил, а кто и в спину стрелял.

Я резко обернулся и ударил себя кулаком в грудь:

— Сержант! Эти ордена и медали добыты кровью!

— Это еще проверят. А будешь чересчур много болтать, отберу сейчас и выкину в туалет. Придется тебе там руками покопаться!

Раздался дружный хохот.

Вне себя от гнева я шагнул к сержанту. Но двое солдат преградили мне путь, и стволы их автоматов уперлись мне в грудь:

— Назад! Лицом к стене!

Когда из туалета вышли все, один из охранников вошел в мужское отделение, другой в женское, проверили, не спрятался ли там кто-нибудь. Затем нас построили, пересчитали и повели к вагону. Я заметил, что из тамбура нашего вагона торчит ствол с танкового пулемета.

Теперь таким же способом сопроводили в туалет следующую группу «пассажиров люкса».

Нет, никакого полустанка или разъезда тут не было. Просто здесь останавливались поезда с заключенными именно для такой процедуры. На городских вокзалах или многолюдных станциях, вблизи которых находились большие селения, предпочитали нас держать взаперти, подальше от глаз. Ибо многим показалась бы довольно странной картина, когда ведут под конвоем советских офицеров при погонах и орденах. Пережившим оккупацию людям привычнее было видеть, как наших пленных сопровождают таким же способом конвоиры в иной форме...

Так мы, «пассажиры люкса», и ехали в течение многих суток. Вскоре все перезнакомились, проявляя друг к другу естественный интерес. Каждый рассказывал о себе охотно, ибо хотелось хоть с кем-то поделиться личным горем, снять хотя бы часть той невероятной тяжести, которая придавила сердце. Выговоришься — и вроде бы легче становится. Большую часть «пассажиры люкса» составляли фронтовики, совсем недавно демобилизованные из армии, а также узники фашистских лагерей, партизаны из Франции, Италии, Греции, Югославии.

Мы находились в пути седьмые или восьмые сутки, когда среди ночи вдруг раздался истошный женский крик. Измученные дорогой и переживаниями последних дней люди вроде бы начали как-то свыкаться со своим положением и большую часть времени лежали не двигаясь, одни спали, другие просто экономили силы. Дикий крик поднял на ноги всех. Бог знает; что померещилось бывшим военнопленным: один из них забился в припадке. Крик повторился. Кричала Эльзара. Уже в следующую минуту всем стало все ясно. Это, не считаясь ни с какими обстоятельствами, ни с политикой, заявлял о своем праве появиться на белый свет новый человек.

Военные, давно не бритые, утратившие былую, подтянутость, опрятный вид, растерянно переглядывались. Девушки спросонок протирали глаза.

— Ну-ка, мужчины, все вон в тот угол вагона! — приказала Фазиле...

Они с Элидой встали. Вагон задергался из стороны в сторону на стрелках. Еле удерживаясь на ногах, они подошли к Эльзаре.

Мы переместились в другой конец вагона, кое-как улеглись, отвернулись к стене. Когда Эльзара кричала, мне казалось, что это не она, что крик рвется из меня, сердце у меня разрывалось на части. Девушки метались по вагону, что-то искали. Вагон грохотал, и они, возясь с роженицей, что-то говорили друг другу на повышенных тонах. За годы войны они, конечно, повидали всякого, но доводилось ли им до этого иметь дело с чудом явления на свет маленького человечка? Мне все время казалось, что они сделают что-нибудь не так, хотелось вскочить, предложить свою помощь. Но что я мог? Все последние годы я учился лишь убивать...

Лампочка то загоралась, то гасла.

Я заметил, что моряк Назим, лежавший рядом со мной, плачет. Натянул на голову бушлат, а плечи у самого трясутся. Я протянул руку и сжал ему плечо, пытаюсь успокоить. И опять вздрогнул от пронзительного крика — на этот раз плакал ребенок.

— Ну, слава Богу, — с облегчением вздохнул кто-то из мужчин.

— Как мать? — спросил полковник Бекиров, садясь. — Нормально! — весело откликнулась Элида. — Роды были непростые. Но ребеночек — загляденье!

— И кто же пожаловал в этот мир? — поинтересовался я.

— Девочка.

Минут через пятнадцать поезд остановился.

— Постучите кто-нибудь в дверь. Надо сообщить о новорожденном, — сказал полковник Бекиров.

Назим, в тельняшке и бескозырке, придерживая на одном плече бушлат, подошел к двери и стал стучать.

Снаружи послышались раздраженные голоса. Дверь чуть-чуть приоткрылась. В вагон просочилась струя свежего воздуха и матовый свет утра.

— Какого хрена колотите? — донесся грубый голос. — Вон там в тамбуре пулемет! Прикажу сейчас молодцам и живо успокойтесь! Ишь, разошлись, бандиты.

И мы увидели низенького, прямо с вершок, капитана, который стоял, широко расставив ноги, и двух солдат-гигантов за его спиной.

— Ну и сволочь! Карлик! — крикнул, вскакивая с места, подполковник Калганов и ринулся было к двери, но Назим шагнул ему навстречу, стиснул могучими руками. — Почему он, подлец, оскорбляет нас? — кричал Калганов, пытаюсь вырваться.

К ним подскочили двое майоров, крепко взяли упирающегося Калганова под руки, усадили на место, что-то строго ему выговаривая.

Бекиров в накинутой на плечи длинной шинели подошел к двери, на груди у него тускло мерцали ордена.

— Капитан! — обратился он к коменданту. — На каком основании вы называете нас бандитами?

— А разве не так? — осклабился тот. — Вы не согласны с мнением советского правительства?

— Прекратите! Не клеветайте на Советское правительство! Комендант рассмеялся и, тотчас оборвав смех, строго проговорил:

— Командование предупредило: «Крымские татары — отъявленные головорезы, будьте с ними начеку. Ежели что — не жалейте!» Кровь схлынула с лица полковника, губы его задрожали.

— Вы не ошиблись, капитан? Может, это не к нам относится? Вы видите, какая на нас форма? У всех награды — ордена, медали!

— Когда приедете, там проверят, где вы их взяли. Полковник стоял, постукивая кулаком о косяк и крепко сжав зубы, на скулах у него вздулись желваки; потом он проговорил севшим голосом:

— Вот что, капитан... здесь, в вагоне, этой ночью женщина родила ребенка. Здесь антисанитарные условия, пригласите врача, пусть ее осмотрит. А если можно, то и в родильный дом не мешало бы поместить на ближайшей станции...

— Вот это да! — обернулся капитан к своим солдатам. — Ну и плодятся же эти татары. Не успели еще до места доехать, а бабы их уже рожают!

Солдаты прыснули.

— Капитан! — строго произнес Бекиров. — Соблюдайте хотя бы элементарные приличия.

— Помолчи, — махнул тот рукой и кивнул солдатам: — Прищемитека дверью ему нос!

Дверь со скрежетом задвинулась, полковник едва успел; отпрянуть. Снаружи повесили замок.

Поезд простоял довольно долго. Мы все-таки надеялись, что врач придет. Было слышно, как что-то разгружают с платформ, что-то грузят. Потом донесся грохот трогающегося состава, вагон дернулся, и мы поехали. А врач так и не появился.

— Какая это была станция? — спросил я.

— Джалгаш, — ответил полковник, он, должно быть, видел надпись на станционном здании; долго сидел он в задумчивости, можно было лишь догадываться, что у него на душе; потом поднял голову, ободряюще кивнул Эльзаре, улыбнулся и сказал: — Назовите свою доченьку Джалгаш. Когда вырастет — расскажете ей об этом вагоне, о нас. А она затем своим внукам... — шаркнув спиной по дощатой стене, он придвинулся ко мне так, что плечи наши соприкоснулись, и тихо проговорил на ухо: «Я слышал об одной истории, но не поверил. А теперь, после того как этот коротышка сказал о пулемете, мог бы и поверить... Шел я по деревне, что возле самых гор, названия даже не знаю, да зашел в один из домов, чтобы воды напиться. Хозяйка, молодая красивая женщина, не только водой напоила, но и пообедать предложила. Из кухни как раз свежими шами пахнет, удержишься-ка, попробуй, я, конечно, согласился... Хозяйка, видать, сразу поняла, кто я есть. На несколько минут исчезла и входит с капитаном, тоже татарин. Мы поздоровались, познакомились, хозяйка подала обед. По правде сказать, капитан этот сразу показался мне каким-то странным. В глазах страх, разговаривает шепотом и при этом озирается, будто в доме нас может кто-то подслушать. А когда он перегнулся ко мне через стол и зашептал: «Слушай, полковник, давай-ка вместе подобра-поздорову драть отсюда когти; иначе нам хана!» — ну, думаю, так и есть, помешанный. А он, пользуясь отсутствием хозяйки, стал мне рассказывать.

Их было человек тридцать. Все офицеры. Фронтвики. При орденах. В разных деревнях были задержаны. Каждый в своей. У большинства на лицах ссадины, синяки. Видно, сопротивлялись, потому что и у конвоиров у некоторых были морды хорошо разукрашены. Да и как было не хватать их за грудки, если ты только что с войны и нервы у тебя на пределе, а они с тобой, как с врагом? Даже теперь, когда их вели под конвоем вьющейся среди холмов предгорной дорогой, с их языка нет-нет да и слетали проклятья. Давным-давно отлученные от бога, они теперь взывали к небу, чтобы оно обрушило свои кары на головы тех, кто поступает с ними так бесчестно и коварно. И когда конвоиры раздражались бранью, они отвечали тем же.

Ночь застала их в пути. Не дойдя до станции километра три-четыре, они остановились в деревне. Пленных загнали в длинное приземистое строение, похожее на амбар. Там оказалась солома. Люди обрадовались неожиданно представившемуся отдыху, улеглись...

Караулить их остались у двери двое солдат, остальные разбрелись по хатам.

Капитан разговорился с солдатами. Сказал, что если они позволят ему пройти по деревне, то он раздобудет самогону или вина и предстоящую длинную ночь они могут скоротать в веселье. «Валяй, — согласились солдаты. — Да не задерживайся! Не забудь и про закуску!»

Зашел он к молодой вдовушке, которая оказалась хлебосольной хозяйкой, угостила щедро и самогоном, и салом, и он, расслабившись, у нее и остался...

А утром перепуганная насмерть женщина, прибежав со двора, растолкала его, полусонного и полупьяного. «Беги!.. — говорит. — Беги скорее! Ваших всех

расстреляли!..» — «Как?.. Кто?.. За что?..» — мгновенно протрезвел капитан. «Сказывают, они Сталина матом крыли. Их ночью всех подняли: пора, дескать, на станцию, поезд скоро должен прийти. Встали, пошли. А верстах в двух от деревни дорога через ущелье проходит. Там уже пулеметы наготове были. Как только ваши в ущелье вошли, их всех из пулеметов и уложили... Потом наших мужиков туда послали, чтобы их в яму покидали да землей засыпали. Ты всех везучее оказался...»

Окончив рассказ, полковник посидел молча, прислушиваясь к ритмичному стуку колес, вздохнул и добавил:

— Я поспешил распрощаться с тем капитаном. Не в себе, думаю, человек... А если вникнуть, очень похоже на правду...

Поезд стал останавливаться все чаще и чаще и подолгу простаивать. Его загоняли в тупик, подальше от станции, и стояли мы часами. Стучали, кричали — никто не откликался. Порой казалось, про нас забыли вовсе.

В первые сутки путешествия мы, оказывается, ехали, по сравнению с нынешним, довольно быстро, не останавливались даже там, где обычным поездам полагалось останавливаться. Видимо, это был специальный маршрут, которым следовали заключенные... Постепенно стало ощущаться, что мы попали в совсем иную климатическую зону. В маленькие оконца под потолком начал задувать холодный ветер и со свистом проникать во все щели. Это уже был равнинный Казахстан, открытый всем северным ветрам. Все, что у нас было теплого, пришлось отдать женщинам и недавним узникам, больным, изможденным, в них едва теплилась жизнь.

Мы исчерпали почти все запасы еды. Сухой паек, полученный большинством военных в войсковой части, кончился. Уже некоторые сутки существовали впроголодь. На станциях, во время остановок, мы беспрерывно стучали в дверь, требовали коменданта. Удалось узнать, что при всех железнодорожных станциях, где останавливается поезд, имеется специальный комендант по переселению крымских татар. В его распоряжении целое подразделение солдат внутренних войск. Чаще всего никто из них не реагировал на наши стуки и крики. Но иной раз, потеряв терпение, комендант подходил к вагону и кричал снизу:

— Чего надо?

— Нам нечего есть! Откройте дверь, разрешите послать человека, чтобы еды купил!

— Ишь чего захотели!.. Незачем было отставать от своих. Когда их тут везли год назад, то давали пшеничную кашу, а для вас и каши нет.

— Тогда мы были на фронте!

— По какую его сторону, интересно?

Пока мы препираемся, поезд трогается. Едем дальше.

Минуло еще трое-четверо суток. Теперь, даже когда поезд останавливался, мы сидели тихо, не разговаривая, не двигаясь. Экономили силы. На нас навалилась тошнотворная апатия, безразличие ко всему. Мы устали. Уже никто не подходил к двери, не стучал. В этом темном, ограниченном стенами вагона мире меня поддерживало лишь одно — плач ребенка. Это была жизнь...

Мы пребывали в каком-то полусне и уже не замечали, когда вагон останавливался и когда трогался с места. Но как-то снаружи в вагон вдруг проникли приглушенные человеческие голоса, и мы поняли, что стоим. Впрочем, голоса мы слышали и раньше, но не они заставили нас зашевелиться и прислушаться, а то, что разговаривали вроде бы не на нашем языке, но все было понятно.

— Что-то тихо в вагоне... Опять, кажись, мертвяков привезли, — сказал кто-то.

— Открывай скорее, сейчас увидим...

— Не приведи аллах увидеть то, что в прошлый раз... Дверь со скрежетом откатилась в сторону. В вагон хлынул поток яркого света и тепла.

— Выходи с вещами! — крикнул, заглядывая в дверь, комендант.

Люди медленно и с трудом поднимались. У меня вдруг сделалось в глазах темно, и я чуть не упал. Пошатываясь, направился к выходу.

В углу, где находились бывшие узники, двое не пошевелинулись. Они были накрыты лохмотьями. Кто-то потолкал их, думая, что спят, затем безнадежно махнул рукой и стал пробираться к двери, держась за стенку вагона.

Эльзара приподняла голову, прижимая к пустой груди мертвого ребенка, по впалым щекам ее текли слезы.

За небольшим станционным зданием с надписью «Булунгур» виднелись деревья, а за ними плосковерхие небеленые дома. Как только мы оказались на земле, нас окружило несколько десятков вооруженных солдат.

Подполковник Калганов сказал коменданту:

— В вагоне есть мертвые. И осталась там больная женщина с умершим ребенком. Ее следует отправить немедленно в больницу.

Комендант, щелкнув каблуками, отдал ему честь, чем мы были потрясены, и отчеканил:

— Сейчас распоряжусь!

За все время своего кошмарного путешествия мы впервые встретили офицера внутренних войск, отдавшего честь войсковому командиру, старшему по чину. Даже от такой мелочи стало как-то светлее на душе, и опять забрезжила надежда на лучшее.

Нас повели на пустырь. Мы шли и оглядывались, не сразу разобрались, где находимся. «Братцы, это же Узбекистан!» — проговорил кто-то. Прохожие — мужчины в полосатых, подпоясанных платками халатах и черных тюбетейках; женщины в бархатных камзолах, шелковых шароварах с вышитой строчкой у щиколоток, краем головного платка прикрывают лицо, как это делали наши южнобережские женщины; некоторые из них, в паранджах, с закрытыми чем-то черными лицами, поглядывали на нас с любопытством, а кое-кто даже с сочувствием. Оказывается, неподалеку был базар. Оттуда временами ветер приносил одуряющий аромат тандырных горячих лепешек. Мы хотели купить чего-нибудь съестного, но нам не позволили.

Мы расположились на помятой желтой траве под старыми кряжистыми шелковицами, голые кроны которых, казалось, упирались прямо в мутноватое небо. Кто сел на котомку, кто прилег, бросив на траву шинель, а кто стоял, прислонясь к корявому стволу дерева. Мы издали видели, как из нашего вагона выносили мертвых. Потом вынесли Эльзару, положили на носилки и куда-то удалились с ними.

Небо к вечеру стало хмуриться, заморосил дождь, быстро смеркалось. Наконец на пустырь въехало несколько однолошадных арб о двух высоких колесах. Таких у нас в Крыму не водилось. Возчики, погоняя, сидели на лошадях, в седлах, упираясь ногами в оглобли. У каждого за спиной берданки или двустволка. Арбы остановились. Возчики спешили, поразминали ноги. По всему видно это были обыкновенные колхозники. Пока старший вел переговоры с комендантом, остальные подошли к нам, заговорили по-узбекски и, кажется, были удовлетворены, что мы их хорошо понимаем и тоже мусульмане. Они говорили по-своему, мы по-своему, завязалась беседа. Потом они принялись расхаживать среди нас внимательно к каждому присматриваясь, окидывая с головы до ног оценивающим взглядом, и мы не сразу сообразили, что они выбирают тех, кто покрепче да помоложе, способных на тяжелую физическую работу. Они почти не задерживались возле бывших военнопленных, измученных, с зелеными лицами и впалыми глазами, проходили мимо.

Один из них, в расстегнутом нараспашку черном чекмене, под которым виднелась белая длинная рубаха, подпоясанная желтым шелковым платком, подошел к нам, поправляя на плече ремень старой берданки, и показал пальцем на меня, моряка Назима Кайтамова, подполковника Рустема Калганова, Элиду и солдата Исмаила.

— Вы, пятеро, идите за мной! — сказал он.

Мы последовали за ним. За нами двинулись двое солдат. Элида обнялась, прощаясь, с подругой и догнала нас.

Подвели нас к арбе, приказали рассаживаться. Я помог Элиде вскарабкаться по широким, как лестница, спицам огромного колеса. Сели, прислонясь к низеньким бортикам. Мысли мои были только об одном: дадут ли нам, когда привезут на место, что-нибудь поесть? Наверное, каждый об этом думал, да помалкивал. И еще очень хотелось спать. Наверное, от слабости.

Быстро стемнело. Арбу раскачивало, подбрасывало на ухабах. Казалось, пока доедем, все внутренности растрясет. Вот почему возчики предпочитали сидеть на лошади...

— Куда мы едем? — спросил я у сидящего в седле человека с ружьем.

— В колхоз имени Сталина.

— Далеко?

— Еще километров восемь. Скоро доедем.

— А кем вы работаете? Возчиком?

— Я? — обернулся он и, сразу посерьезнев, официальным тоном произнес: — Раис я, председатель! Зовут меня Хайдар-ака, Хайдар Махкамов.

— Больше некого было за нами послать, что ли? — спросил Калганов с неприязнью. — У председателя других дел нет?

— Как нет, дел хватает. Но в райкоме партии сказали, чтоб татар принимать в колхоз под личную ответственность председателей. Вот и пришлось самому. Коль отвечать, то надо, по крайней мере, видеть, за кого придется отвечать в случае чего...

— А ружье зачем? — спросил я.

— Так было велено. В райкоме сказали: «Это вам не корейцы, которых привезли восемь лет назад, а крымские татары: моргнуть не успеешь — без головы останешься!» А слово райкома — закон.

— У вас есть еще крымские татары?

— Нет. В прошлом году, когда их привезли, всех соседний совхоз забрал. Там виноградарство, а они в этом знают толк...

Близилась полночь, когда мы, промокшие и озябшие, наконец, достигли кишлака; заметили это не сразу, а лишь когда миновали крайние дома, похожие на сарайчики. Нигде не было видно ни огонька. Мы въехали в большой, заросший бурьяном двор, огороженный высоким дувалом¹. Ворота, однако, отсутствовали. Похоже, здесь уже давно никто не обитал. Разве что на зиму загоняли овец. В углу двора приютилась приземистая хижина.

Председатель открыл дверь.

— Вот ваш дом, милости прошу, — сказал он.

Мы вошли, Махкамов чиркнул спичкой и засветил стоявшую в нише керосиновую лампу с заклеенным бумагой стеклом.

На земляном полу рогожа. У стены постлано огромное стеганое одеяло, а на нем посерединке полосатая скатерка, на которой стоят большое блюдо с пловом, фарфоровый чайник с пиалами и целая стопка лепешек, завернутых в полотенце.

Махкамов, встав коленями на одеяло, открыл чайник, он оказался пустой.

— Сейчас сосед принесет горячий чай.

Он вышел, должно быть, к соседу; через некоторое время принес целое ведро воды и пригласил нас умыться. Мы подходили к нему по очереди, а он поливал нам на руки. Полотенце белело на ветке яблони возле навеса, где находился тандыр².

Мы умылись, вытерлись, и это как-то сразу сняло усталость.

Хайдар-ака распрощался с нами, пожимая каждому руку, и, сказав, что придет утром, ушел.

¹ Дувал — глинобитная стена.

² Тандыр — печь, где выпекаются лепешки.

Мы обшарили весь дом в поисках ложек, но тщетно. Калганов вспомнил, что местные жители едят плов руками, и мы подсели к дастархану¹...

Пришел сосед, принес чугунный закопченный чайник в форме кувшина с ручкой, в котором все еще клокотал кипяток. Поздоровался, пожимая всем поочередно руки, подсел к дастархану, разломал на куски лепешку, заварил чай. Мы познакомились, звали его Таштемир. Ему не было и сорока, но, давно не бритый, с глубоко запавшими печальными глазами, он выглядел много старше.

Мы поели остывшего плова, зато чаю напились обжигающего и отлично согрелись. Сосед приличия ради побеседовал немного с нами и, видимо, заметив, что у нас слипаются глаза, пожелал спокойной ночи и ушел.

Элида убрала скатерку, сложив ее, положила в нишу. Мы тотчас повалились на ватное одеяло, укрывшись чем попало. Элида примостилась с краю. Ей не привыкать было спать среди солдат, которых, может, завтра ей предстояло выносить с поля боя, зато в часы затишья они берегли ее покой.

В окне не было рамы, проем был прикрыт лишь ставнями, из-под которых сильно дуло. Свисавшие с потолка, поперек которого лежали толстые балки, стебли камыша раскачивались от ветра.

— Черт возьми, не будут ли на нас падать с потолка скорпионы? — ворочаясь с боку на бок, проворчал моряк Назим.

— Если имеешь привычку спать с открытым ртом, то берегись, — съязвил Исмаил. — Вползет змея, не успеешь за хвост схватить...

— Если даже крокодил мне ногу откусит, не проснусь, — пробормотал Калганов, засыпая.

Утром Хайдар Махкамов приходил, оказывается, дважды. Заставая нас спящими, уходил, не пытаясь разбудить. Когда он пришел в третий раз, мы были уже на ногах. С ним теперь был и наш сосед с жидковатой черной бородкой. За спиной у него висело то самое оружие, которое мы видели вчера у Махкамова.

— Э-э, долго спите, — заметил председатель, здороваясь. — Колхозники встают, когда еще темно, — и развел руками, заметив, как Калганов нахмурил брови, поглядывая на ружье, торчавшее из-за спины Таштемира: — Не обижайтесь, так положено. А то начальство увидит, что без ружья, ругать будет, яман² будет...

... Калганов собирался, кажется, разразиться бранью по адресу его начальства, но в это время заметил соседку, которая несла нам еду, и у него отлегло от сердца. Она молча поставила на дастархан глубокое блюдо с картофельным мясным соусом, по краям лежали куски отмякшей лепешки, и, не удостоив никого из нас взглядом, удалилась: у местных женщин считается грехом смотреть на посторонних мужчин.

Председатель, конечно же, вышел из дому, позавтракав, и присоединился к нашей трапезе лишь из приличия. Макая кусочки лепешки в соус, он рассказывал о том, что колхоз их выращивает хлопок; правда, овощи разводят тоже, но мало. В основном — хлопок. Культура капризная, требует очень большого ухода. Каждый кустик приходится холить, как ребенка. Поэтому в поле они трудятся в основном вручную.

— А мужчин в колхозе раз-два и обчелся, — говорил председатель Махкамов. — Да и те в основном старики — какой от них толк?

— Думаете, мы умеем... — усмехнулся Калганов. — У нас у всех совсем другая профессия. Мы даже не видели, как растет этот ваш хлопок!

— Теперь вы — колхозники. Дело нехитрое, научитесь. У нас и бывшие фронтовики есть. Несколько. У одного руки нет, у другого ноги. Единственный, у кого все на месте, так это вот он, — кивнул Хайдар-ака на соседа нашего, Таштемира. — Он и бригадир у нас, и бухгалтер, и завскладом. Остальные все женщины...

— Куда же мужчины подевались? — спросил Назим.

¹ Дастархан — скатерть.

² Яман — плохо.

— Там остались, в России, похоронены в русской земле... У многих, слава Аллаху, дети остались. Ждать будем, когда они вырастут. Тогда, может, нам полегчает. А до того весь груз забот нам с вами придется нести на собственной спине. Так что, не обессудьте, для вас у меня легкой работы нет...

— Мы и не ищем для себя легкой жизни. Только погодите, не спешите нас в ярмо впрягать, мы же все-таки не скоты, у нас семьи есть, — сказал, волнуясь, Калганов. — Мы сначала должны найти наши семьи...

— А где они, ваши семьи? — насупился председатель.

— Если бы мы знали! Быть может, в соседнем совхозе, а может, в Норильске. Искать будем.

— Легко сказать — искать, — хмыкнул председатель, разочарованный услышанным. — Время-то не ждет. А работать когда собираетесь? Я-то вас привез не для того, чтобы вы из кишлака в кишлак ходили, а трудились!

— А что с нашими семьями, вам все равно? — глянул на него исподлобья Калганов.

— Мне, может, и не все равно, да не я за это в ответе. А вот если я план по хлопку не выполню, то не сносить мне головы. Я вас привез, обеспечил жильем...

— Это вы называете жильем? — резко спросила Элида, окинув взглядом голые, неоштукатуренные стены. — У нас коровы в лучших сараях содержались...

— А вы думали, вам тут приготовят ковры, зеркалами стены увешают? — вспылил председатель и стал, как свекла, бордовый. — Тогда вам все из Крыма и нужно было везти, если вы там так здорово жили... при немцах.

Элида, чувствуя, что вот-вот расплечется, порывисто встала из-за дастархана и вышла наружу. Чтобы заняться хоть чем-то, стала драить щеткой хромовые сапоги. Защитного цвета гимнастерка с кармашками на груди, темно-синяя юбка ладно сидели на ней, подчеркивая стройность ее фигуры. Но она с удовольствием сменила бы военную форму на обыкновенное, женское платье, если бы имела хоть одно.

— Хайдар-ака, — обратился к председателю Исмаил, который был среди нас самым молодым и еще не успел обзавестись семьей. — Могу ли я тут у вас спокойно жить, работать, если не знаю даже, где мои мать, отец, да и живы ли? Вы, наверное, умный, благородный человек, если вас избрали райсом. Посудите сами, мы до последнего дня войны находились на фронте, а вернувшись домой, не застали там своих близких, их за одну ночь выгнали со своей земли...

Председатель выставил ладонь — понял, мол, что ты хочешь сказать:

— Я вот что по этому поводу думаю. Человек я прямой, уж не обессудьте, что думаю, то и говорю. Если бы ваших выгнали немцы, то выходило бы, что татары помогали нашим; а если выгнали наши, то — немцам... А как же иначе? Иначе и быть не может!..

Калганов ударил кулаком о колено, а потом ткнул указательным пальцем себя в лоб:

— Неужели вы до этого сами додумались?

— А зачем! За меня райком думает! Я твердо знаю одно: получил я вас под расписку. И теперь за вас, пятерых, я в ответе. И уехать из этого колхоза без моего разрешения вы не можете, права такого не имеете.

— Мы не скот, чтобы нас под расписку получать! — наливаясь кровью, процедил сквозь зубы Калганов. — Когда захотим, тогда и уйдем!

— Попробуйте. Предупреждаю: сразу позвоню в НКВД. А знаете, что бывает, если без разрешения уезжают? Даже если из одного района в другой переходят? Двадцать лет каторжных работ! Так на бумаге написано. Сам видел.

Нам расхотелось есть. Воцарилось молчание. Я вытер руки о край дастархана и отодвинулся.

— Уважаемый Хайдар-ака. — сказал я. — Вчера, когда вы нас везли сюда, хотя и держали на коленях ружье, однако казались добрее, а сегодня вы совсем другой...

— Если хоть один из вас отсюда исчезнет, с меня снимут голову, можете вы это понять? Я получил указание! У-ка-за-ни-е-е!

— Плевал я на указание и тех, кто его давал! — воскликнул, вскакивая, Калганов; он схватил одной рукой шинель, другой пустой вещмешок и обернулся к нам: — Кто со мной?

Однако Исмаил встал в дверях, преградив ему дорогу:

— Рустем Меметович, забудьте, что вы подполковник, а я солдат, послушайте, что скажу. Да, мы можем сейчас все уйти. И вряд ли это жалкое ружьишко... — он кивнул на берданку, лежавшую рядом с растерянным Таштемиром, — будет пущено в ход. Но людей этих из-за нас строго накажут. Времена, сами знаете, какие. Им приказали взять в колхоз пятерых крымских татар, они и взяли. От Симферополя и до Булунгура ответственность за нас несли коменданты НКВД, теперь же нас передали под надзор местных властей, и перед ними люди эти подотчетны. Давайте поживем тут несколько дней, присмотримся, подумаем. Плетью обуха не перешибешь. Как бы беды не натворить¹...

Калганов, колеблясь, минуту-другую постоял, швырнул вещмешок, шинель и сел на них.

— Рахмат², — сказал ему председатель и облегченно вздохнул, а затем подошел к Исмаилу и пожал ему руку.

— Какую работу вы хотели нам дать? — спросил тот, привыкший ко всякому труду.

— Дело в том, что две недели назад у нас прошли проливные дожди, — сказал председатель, волнуясь и поглаживая бородку. — С гор хлынул сильный поток и смыл дорогу. Теперь мы не можем проехать ни к шийпану³, ни на склад. Надо восстановить дорогу.

— Что будем делать, а, Рустем-ага? — обратился Исмаил к Калганову. — Поможем колхозу?

Тот поднял глаза, и в них можно было увидеть, как он раздражен тем, что солдат командует офицером старшего комсостава, однако потупился и, кивнув, пробурчал:

— Естественно, еду надо отработать. Но, когда мы закончим ремонт дороги, я тут не останусь более ни дня, запомните это!

— Тогда не будем терять времени! — сказал раис.

— Сначала надо посмотреть, — заметил Назим.

— Конечно, — согласился раис. — Таштемир покажет. Мы, четверо, в сопровождении Таштемира, не забывшего, конечно, прихватить ружье, отправились по дороге, уводящей далеко за кишлак. Элида осталась, решив навести в нашем жилище какой-никакой порядок.

Серая, присыпанная щебенкой дорога убегала, местами змеясь среди холмов, к едва виднеющимся сквозь сероватый туман горам. По обе стороны вдоль арыка торчали — иначе не скажешь — толстые корявые стволы шелковиц, безжалостно обрубленных и начисто лишенных крон. Кто же их так изуродовал, обрубив все ветви? Тогда мы еще не знали, что листьями этих деревьев кормят червей шелкопряда, хотя само название их могло нам это подсказать. Слева и справа от нас чернели поля в коричневой щетине каких-то кустиков, посаженных ровными рядами. Таштемир объяснил нам, что это гузапая — кустики хлопчатника, остающиеся после сбора хлопка. По полю ходили женщины, оскальзываясь на грядках и еле волоча от налипшей грязи ноги. Оказывается, они собирали гузапая для топлива, скашивая ее серпами. Связывали в огромные снопы и тащили на себе, низко пригибаясь под тяжестью.

¹ В ответ на многочисленные жалобы крымских татар о том, что в местах их проживания царит произвол и нарушение всяких законов, за малейшие проступки их ссылают в лагеря, Совет Министров СССР «узаконил» действия местных властей, приняв 21.XI.1947 года Постановление «Об уголовном наказании за побег с места спецпоселения граждан крымскотатарской национальности сроком на 20 лет каторжных работ». Текст этого Постановления, отпечатанный крупным шрифтом, был вывешен на стенах комендатур, куда крымскотатарское население ежемесячно приходило на «отметку».

² Рахмат — спасибо.

³ Шийпан — постройка в виде большой беседки с жилым помещением на полевом стане.

Слева за деревьями и покатыми холмами то показывалась, поблескивая, речка, то пропадала. Мы прошли километров шесть. Горы приблизились настолько, что на них кое-где в распадках стал виден снег. «Это отроги Туркестанского хребта», — пояснил Таштемир, с любовью оглядывая дальние склоны.

Дорога наша неожиданно оборвалась, будто провалилась под землю, и мы оказались на краю обрыва. Напротив, метрах в ста, виднелся коричневый срез другого обрыва, и прямо от него широкой серой лентой убегала дорога дальше.

— Вот это да-а!.. — произнес Назим, присвистнув. — Что же это тут за вода такая, что целый участок дороги словно языком слизнула?! В море вон какие штормы бушуют; а берега нашего Крыма как стояли, так и стоят...

— Здесь речка Ташли изгибалась, будто петлю выписывала, — стал объяснять Таштемир. — Когда строили дорогу, решили речку спрямить, прорыли ей новое русло, а где излучина была, не стали мосты строить, чтобы средства сэкономить, засыпали грунтом, утрамбовали. Решили, что и речке теперь хорошо, и нам... Она текла себе и текла. А хлынул сильный поток, тут-то он и промыл старое русло...

— Итак, причину катастрофы выяснили, остается пустяк — восстановить дорогу, — заметил я, очень сомневаясь, что это нам под силу.

— Восстановить-то восстановим, а весной, когда начнет таять снег, ее опять смоем, — сказал Исмаил; он был сапером и знал, что говорит.

— Ты считаешь, справимся с этим? — спросил Назим, прижимая рукой бескозырку, чтоб не снесло ветром, и заглядывая вниз, где, хлюпая и журча, извивались среди немытого песка прозрачные струи воды, и было трудно себе представить, что они могут обретать такую грозную силу.

— На войне и не такие переправы приходилось строить, — сказал Исмаил. — А сверху еще бомбы сыплются, снаряды падают, снесет тебя взрывной волной в ледяную воду, а ты, если жив, выбираешься — и снова за дело. Весь обледенеешь, а холода и не чувствуешь. И лучшая тебе награда, когда машины, танки, пушки пойдут по твоей переправе...

— Ну, там у вас хоть какая-то техника была, — заметил Калганов.

— И не вчетвером, наверное, возились, — сказал Назим, запахивая бушлат, который всегда носил нараспашку, чтобы видна была тельняшка.

— Случалось, что и вчетвером оставались после артобстрела...

— У нас же трактор есть! — вспомнил вдруг Таштемир.

— Это уже кое-что! — усмехнулся Калганов.

— Правда, стоит давно. Механика толкового нет, чтобы починить.

— Ничего, нам это раз плюнуть, — сказал Назим.

Обратно мы отправились, уже имея четкое представление, за какую работу нам предстояло приняться, и обсуждали, как половчее с ней справиться. Каждый что-то предлагал, отвергал. Спорили. Однако было ясно, что восстановить дорогу в прежнем виде мы не сможем, четверым это не под силу. Но что-то надо было делать...

Придя домой, мы наше жилище не узнали. Элиду тоже. На ней было ситцевое узбекское платье в цветочек свободного покроя. Соседка наша Халимахон раздобыла у кого-то известку, и они трудились полдня не покладая рук: побелили нашу хижину внутри и снаружи, состригли ножницами свисающие с потолка камышовые стебли, смели паутину, отмыли до желтизны перекладыны, проем окна завесили белой вязью, пол помазали желтой глиной, а рогожа теперь сверкала. Махкамов, оказывается, прислал пару курпачей — стеганых подстилок для сидения на полу — и три-четыре длинных, похожих на валики подушек. Курпачи были постланы вдоль стен, подушки разложены, и хижина приобрела вид человеческого жилища.

Халимахон на большом блюде принесла горячий суп, разлив в глубокие чаши-касы.

Пришел председатель. Он пообедал дома, поэтому согласился с нами попить только чаю. Разговор, конечно, опять зашел о дороге.

— Восстановить ее такой, какой она была, невозможно, — сказал Исмаил. — Мы сделаем по-своему. Но так, что больше никогда никакой сель ее не размочит.

— Лишь бы по ней арбы ездили! — сказал, просияв, Махкамов. — Что для этого от нас потребуется?

— Трактор с прицепом, в котором вы перевозите хлопок, — сказал Исмаил.

— И металлическая сетка, — добавил Назим. — Для закрепления булыжников и грунта в фундаменте...

Председатель сказал, что такая сетка у них имеется, да только она на складе, по ту сторону обрыва, километрах в двух от дороги, а ведь на арбе сейчас туда не проехать.

— Как-нибудь перетаскаем, и не такое приходилось на фронте таскать, — скачал Исмаил.

— Меня беспокоит другое, — сказал Калганов. — Сегодня на то, чтобы пойти туда и вернуться обратно, у нас ушло полдня, если сюда на обед ходить...

— На складе есть продукты, — сказал Махкамов. — Это рядом с шийпаном. Халимахон и Элидахон будут стряпать. Наши колхозники и летом в шийпане обедают. Там и комната есть. Скажу Таштемиру, чтобы навел в ней порядок...

— Таштемир будет постоянно с нами? — спросил Калганов, поглядев на него в упор.

— Да, постоянно, — сказал раис, отводя глаза.

— С ружьем?

— С ружьем.

— Та-ак, — протянул Калганов и стукнул кулаком о колено. Взгляд его сделался тяжелым.

Видя, что из него сейчас, словно из вулкана, извергнется гнев, и он может не только наговорить, но и натворить невесть чего, я попытался разрядить обстановку и сказал:

— Патронов пусть побольше берет, может, зайца подстрелить удастся или фазана; любая дичь украсит наш стол.

— О, дичи у нас всякой хватает! — подхватил раис, глаза его заблестели, выдавая в нем заядлого охотника.

У Калганова дергалась щека. Он потер ее рукой, покосился на меня и усмехнулся.

В течение восьми дней мы работали на размытом участке дороги. Часто под морозящим дождем. По ночам землю подмораживало, выпадал иней, а снега все не было. Седая с утра трава к полудню оттаивала, становилась бурой от влаги, пригибалась к земле, укрывала тропинку, по которой мы ходили. Задерживаясь на работе дотемна, мы нередко оставались в шийпане, а утром, едва забрезжит, шли узкой тропинкой к дороге в разлезающихся мокрых сапогах, вымазанной грязью военной форме — четверо крымских татар-спецпереселенцев впереди и Таштемир с ружьем позади.

Элида попросила Халиму-апа оставаться дома, поскольку у той и без того хватало хлопот с детьми, хозяйством. С обязанностями стряпухи она вполне справлялась и сама.

Случалось, мимо нас проходили люди, проезжали верхом на ишаках или лошадях. Кого бы мы ни встретили, узбека ли, русского ли, своего ли земляка, останавливали и, обступив, расспрашивали, не попадались ли ему где люди из таких-то и таких-то крымских городов, деревень, называли имена своих близких и знакомых. Нет, про таких они и слыхом не слыхали. Лишь Калганову в какой-то мере повезло. Ему удалось вызнать, что население того района, где проживали его родственники, было выгружено год назад где-то неподалеку от Ташкента, то ли в Чирчике, то ли в Янги-Юле. И он теперь, шепча про себя названия этих поселков, ждал того дня, когда попадет туда. Он мог отправиться в путь, лишь когда мы закончим работу, поэтому он сам трудился, как сумасшедший, и нас подгонял.

На восьмой день завершили работу. По дороге уже второй день свободно разъезжали арбы, и арбакеши приподнимались в седлах, приветливо махали нам рукой и кричали: «Рахмат, биродорлар!..»¹

В кишлак мы вернулись под вечер, незадолго до захода, усталые донельзя.

Пока Элида собирала нам дастархан, мы почистили одежду, надраили ваксой сапоги. Вдруг Калганов, не дожидаясь даже ужина, надел шинель, закинул за плечо вещевого мешок, встал посреди комнаты, обвел всех взглядом и спросил:

— Кто со мной?

Исмаил поднялся и тоже стал поспешно собираться.

Назим и Элида переглянулись, она, смутясь, отвела глаза.

— А вы, капитан? — обратился ко мне Калганов. — Полагаете, ваша Фатма сама разыщет вас?

И сразу перед моими глазами возникла несчастная жена, прижимающая к груди ребенка.

— Нет, Рустем Меметович, я так не полагаю, — сказал я и принялся торопливо запихивать в вещевого мешок свои вещи, которых, к счастью, было не так-то много.

Поешьте хотя бы... — сказала растерянная Элида. Заверни нам чего-нибудь на дорогу, — попросил Калганов. Таштемир переводил с одного на другого бегающий взгляд и, смекнув, что мы засобирались всерьез, возмутился:

— Сбесились, да? Здесь вам плохо, да? В Колыму захотели?.. На меня не обижайтесь, я должен сказать об этом раису-бобо², а он сразу позвонит начальнику райуправления!

— А-а, звоните, кому хотите! — махнул рукой Калганов. — Жратву мы отработали, совесть наша чиста.

Таштемир выскочил из хижины и заспешил в правление, придерживая, чтоб не стучал по ляжкам, приклад, где семена, а где припускаясь бегом.

Калганов, Исмаил и я ушли из колхоза имени Сталина в тот же вечер. Назим и Элида остались. Они от кого-то узнали, что жители их селений были выгружены из эшелонов в Самаркандской области и находятся где-то неподалеку, поэтому поиски своих родных решили начать с Булунгурского района.

С мглистого неба сыпала снежная крупа. Дул встречный холодный ветер, приходилось налегать грудью, чтобы преодолевать его напор. Под подошвами хрустела щебенка. Сказывалась солдатская привычка идти в ногу. Мы шагали рядом, плечом к плечу, и молчали. Чем дальше уходили от кишлака, тем тревожнее становилось на сердце. В голове назойливо билась фраза: «Переход из одного района в другой считается побегом...» Что ждет нас?

Уже завтра жизнь каждого из нас может круто измениться, Успею ли я найти семью раньше, чем буду задержан? Меня более всего пугали слухи о том, что несколько эшелонов с нашими людьми были отправлены на Урал и в Сибирь. У меня не было никакой уверенности, что Фатма с ребенком находятся в Узбекистане. Сюда, к счастью, было привезено большинство моих земляков. «К счастью... К счастью?» Говорят, многие, у кого достало решимости, несмотря на строжайший комендантский режим, любыми способами перебирались из северных краев в Узбекистан, где благодатнее климат, а население близко нам как по языку, так и по религии. Но моя Фатма, окажись она там, в тех суровых краях, вряд ли отважится бежать оттуда...

Немногим более полугода, как закончилась война. А тысячи офицеров и солдат — крымских татар — и поныне с котомками за плечами, в пыльных сапогах со стершимися каблуками бродят по дорогам узбекской республики, из кишлака в кишлак, из города в город, разыскивают матерей и отцов, жен и детей, сестер и любимых девушек. Ходят, таясь, стараясь не попадаться на глаза службистам НКВД. А это ой как непросто, если в каждом райцентре, в каждом кишлаке, где расселено свыше трех десятков татар, при

¹ Рахмат, биродорлар! — Спасибо, братцы!

² Раис-бобо — председатель-старейшина.

каждом заводе имеются спецкомендатуры с соответствующим числом надзирающих. Областные управления спецпереселенцев располагали целыми войсковыми соединениями. Спец... спец... спец... Впрочем, только в первый год после изгнания с родной земли крымские татары в документах, выданных им вместо паспорта, значились «спецпереселенцами». А потом термин этот наркомату внутренних дел показался слишком изысканным и был заменен на «спецвыселенцы». Теперь мы даже не переселенцы, а выселенцы, мы, недавно праздновавшие победу, с еще не совсем зажившими ранами, отмеченные шрамами. Но какие это были пустяки по сравнению с той душевной болью, которую мы испытывали...

По всей территории Узбекистана рыскали большими и малыми группами солдаты внутренних войск, дежурили на перекрестках, устраивали засады у сельских дорог, у въездов в города, кишлаки — вылавливали выселенцев, приводили их в комендатуры, избивали, сажали в холодные камеры, морили голодом, вымогая взятки. Приходилось слышать, что иногда удается откупиться от них трешкой. Полагаясь на удачу, мы положили в нагрудные карманы гимнастеров по несколько зеленых трешек.

Чтобы не замерзнуть, мы не сбавляли шага и утром были уже в Булунгуре, небольшом пристанционном поселке, районном центре. Еще только рассвело, а на базаре уже шла оживленная торговля. Мы купили кое-что из съестного, лепешек, халвы, сделанной из спрессованного сушеного тутовника, яблок. Мешки наши потяжелели, но нести их стало куда приятнее.

Посоветовавшись, решили поехать в Ташкент. Калганов рассчитывал разыскать в Чирчике или Янги-Юле кого-нибудь из родственников, которые наверняка знают, где его семья. А я хотел зайти в Союз писателей, надеясь получить хоть какую-то помощь, хотя, по правде говоря, очень мало на это надеялся. Ну чем они могут мне помочь — единовременным пособием? Разве это для меня сейчас главное?

Исмаилу же было все равно, куда податься, ему просто не хотелось оставаться одному; и он последовал за нами.

Когда приблизились к станции, я издали заметил группу солдат, расхаживающих взад-вперед по перрону. Ёкнуло сердце, и я схватил своих попутчиков под руки, останавливая их:

— Пожалуй, лучше нам отсюда смотать удочки!

— Ну, вот еще! — возмутился Калганов, багровея. — Что мы, преступники какие-нибудь, чтобы бояться всех и каждого? — И, расстегнув шинель, чтобы видны были ордена, решительно направился к билетной кассе.

Исмаил шагнул за ним, обернулся ко мне и, бросился его догонять. Я остался на месте, ноги мои словно приросли к земле. Я видел, как моих товарищей обступили солдаты и потребовали документы. А взяв документы, не возвратили и приказали пройти с ними в комендатуру. Калганов воспротивился, двое набросились на него и стали выкручивать руки. Исмаил кинулся ему на помощь, ударом приклада его сбили с ног. Их схватили и потащили силком. Это произошло так быстро, что я не успел и опомниться.

Я с трудом сдвинулся с места, лишь затем, чтобы встать за дерево. Ноги сделались чугунные. «Что же это такое? В своей стране...» От этой обжигающей мысли сдавило горло. Долго стоял я, не двигаясь, ждал, когда появятся мои товарищи. С каждым часом таяли мои надежды их увидеть. Стало пригревать солнце, на ветках дерева таял снег, с них падали крупные прозрачные капли, словно дерево плакало.

Близился полдень. К станции медленно подкатил и остановился длинный товарный состав из Красноводска. Черный паровоз нетерпеливо пыхтел, время от времени издавал громкое шипенье и окутывался паром. Я обошел, чтобы никому не бросаться в глаза, площадь и приблизился к поезду, выискивая взглядом вагон с тамбуром, куда мог бы, улучив момент, вскочить. Чумазый, усатый машинист, облокотясь об оконце, смотрел наружу. Показалось, он мне сделал знак рукой. Посмотрел на него: действительно машет рукой, чтобы я подошел. Оглядевшись по сторонам, я шагнул через рельсы.

— Залазь сюда, браток!

По крутой лесенке я вскарабкался в кабину паровоза. Машинист передвинул какие-то рычаги, крутанул колесики, диски, и мы поехали. Я высунулся из оконца, на перроне виднелись всего пять-шесть человеческих фигур. Ни Калганова, ни Исмаила там не было.¹

Машинист положил мне на плечо руку:

— Не высовывайся.

Помощник его, белозубый парень в неопределенного цвета майке, мускулистый, тоже чумазый, взял лопату и подбросил в топку угля.

— Из Крыма? — спросил машинист.

— Да.

Он понимающе кивнул. Вздохнув, стал сворачивать сигарку.

— Я тоже фронтовик. Довелось мне с вашими плечом к плечу воевать... Ничего не понимаю... Ровным счетом ни-че-го...

Мы познакомились. Его звали Тимофеем, а помощника Захар. Им, оказывается, и до этого приходилось не раз перевозить таких, как я, разыскивающих свои семьи. Глаз у Тимофея наметанный, и потому, как наши держатся, с оглядкой, что ли, и ходят как-то... ну, словно бы крадучись, он издали научился различать крымских татар.

Останавливаясь то и дело на разъездах, пропуская встречные поезда, мы часов через пять, наконец, докатили до Урсатьевска. Отсюда отходила железнодорожная ветка в сторону Ферганы. Я слышал, что более всего наших попало в Ферганскую долину. А не начать ли мне поиски оттуда?

Словно угадав, о чем я думаю, Тимофей спросил:

— Что собираешься делать?

— Сам толком не знаю. То ли в Ташкент ехать, то ли в Фергану...

— Ты вот что, не суетись, — сказал Тимофей, насупив кустистые с проседью брови. — Поезжай-ка с нами в Ташкент. Я тебе советую пойти в управление НКВД Ташкентской области. Они располагают всеми сведениями. У них и спросишь, где могут быть твои симферопольцы. Понял? Назови улицу, где жили. Они должны знать, если не даром хлеб жрут...

Выбора у меня не было. Вняв совету, я остался в кабине.

Подъезжая к Ташкентскому вокзалу, поезд замедлил ход. Сочтя, что моих слов благодарности недостаточно, я стал неловко совать в карман машинисту деньги. Но Тимофей решительно отстранил мою руку. Я просил взять с меня плату — ведь предлагаю не более того, что стоит билет, — он категорически отказался. «Они тебе нужнее, браток. Неизвестно, сколько еще проколесишь, пока разыщешь своих. Хорошо еще, если они тут, в Средней Азии, ну а если в Сибири? («Не дай Бог!» — мысленно произнес я.) Мой тебе совет — экономь каждую копейку. Удачи тебе!»

Я обменялся рукопожатиями с ним и Захаром. Паровоз задержался, переходя со стрелки на стрелку. «Смотри, будь осторожен!» — предупредил меня Тимофей, когда я стал спускаться по лесенке. Я кивнул. Слова его относились как к моему предстоящему прыжку, так и к прибытию в чужой незнакомый город, где меня никто не ждал и некому было приветить. Выждав момент, я спрыгнул. Паровоз коротко гуднул, я помахал рукой.

На привокзальной площади, в скверике, было полным-полно людей. Многие находились тут по нескольку суток и никак не могли уехать. Вид у всех был измученный. Скамейки, вокруг которых громоздились узлы, чемоданы, были облеплены стариками, женщинами, плачущими детьми. Некоторые лежали прямо на земле, подстелив газеты, и непросто было определить, то ли спят, то ли больны, то ли пьяны.

Я постарался поскорее смешаться с толпой прохожих. Облюбовав одну из пожилых женщин, лицо которой мне показалось добрым, я спросил, где находится областное

¹ Впоследствии, много лет спустя, я встретился совершенно случайно с родственниками Калганова. Они, оказывается, действительно жили все это время в Чирчике, однако с Р. М. Калгановым так и не встретились, считали его без вести пропавшим на войне. Фамилии Исмаила я, к сожалению, не запомнил.

управление НКВД. Она охотно объяснила, как доехать, и показала остановку трамвая, где толпились, видимо, заждавшись, люди.

Подкатил трамвай, переполненный, обвешанный гроздьями пассажиров. Мне с трудом удалось, протиснувшись, схватиться за ручку и поставить одну ногу на ступеньку. Поехали...

Добравшись, наконец, до здания управления НКВД, я увидел тут тысячи крымских татар. Они толпились на ступенях и под окнами, заполнив тротуар и половину проезжей части дороги. Машины замедляли ход, чтобы невзначай не задеть кого, а нередко шофер высовывал из кабины кулак, и вслед за этим неслась отборная матерщина по адресу «продажных тварей», из-за которых нет ни проходу, ни проезду... А у самого входа люди были словно спрессованы. Наверное, не одни сутки провели здесь на ногах. Пробриться сегодня к входу нечего было и думать. В окна было видно, что и коридоры битком набиты. Люди тут дневали и ночевали. Большинство — военные, вернувшиеся, так же, как я, с фронта. Есть и освобожденные из плена. Их легко узнать по изможденным лицам и одежде; облачены они в то, что им дали сердобольные люди, кто в старом чапане с торчащей из дыр ватой, кто в замызганной телогрейке, у кого на ногах стоптанные башмаки, у кого калоши, подвязанные бечевой, чтобы не спадали.

Я долго вглядывался в лица, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых, у которых можно будет расспросить о Фатме. Но куда там, легче было отыскать иголку в стоге сена. Ведь тут были люди со всего Крыма. Лица у всех замкнуты, угрюмы, каждый убит своим горем. Если кто вступает в разговор, слушают его рассеянно. Пробовал и я заговорить кое с кем, расспросить, не знает ли кто, куда вывезли татар из Симферополя. Случайно подслушав наш разговор, ко мне подошел майор и сказал, что от кого-то слышал, будто симферопольцев сгрузили в Бекабаде. «Может быть и так, — поддержал его мой собеседник. — Там металлургический завод, большая нужда в рабочей силе. Говорят, там начали строить еще Фархадскую ГЭС...» «Тогда мои, скорее всего, здесь, в Узбекистане!» — обрадовался я, осознавая одновременно нелепость своей радости, но, наверно, недаром старинная народная пословица гласит: «Если тебе плохо, все равно радуйся, ибо могло быть хуже». Майор, кажется, прочел мои мысли и грустно улыбнулся. Я поблагодарил его и стал выбираться из толпы.

Время было позднее, и вряд ли я мог застать кого-нибудь в Союзе писателей. А ждать для этого завтрашнего дня было просто не вмоготу. Словно кто невидимый шептал на ухо: «Езжай скорее в Бекабад. Твоя Фатма там. Там!..» Обратную дорогу на вокзал я уже знал и добрался туда гораздо быстрее. Стемнело. На улицах засветились редкие фонари. В темноте маслянисто лоснились железнодорожные рельсы, убегая вдаль, смыкаясь и вновь разбегаясь. На дальнем крайнем пути стоял товарняк. В конце его пыхтел паровоз. Вдоль состава шел путеец с фонарем и длинным молоточком, постукивал по колесам, прислушиваясь к звону. Я спросил: «Не знаете, куда отправится этот состав?» Он осветил мне в лицо, потом направил фонарь на стенку вагона, шаря по нему лучом, и я увидел выведенную мелом и почти смытую надпись. БЕКАБАД. «Видал?» — спросил он по-узбекски. «Рахмат», — поблагодарил я. «Да поможет тебе Аллах», — пробормотал он и последовал дальше, посвечивая и постукивая молоточком. Я отыскал вагон с тамбуром, взобрался и сел на полу, скорчившись в темноте, чтобы никто меня ненароком не заметил. Мне даже удалось соснуть, правда, я основательно продрог. Утром я прибыл в Бекабад. Чайханы, где я мог усладить себя горячим чаем, еще были закрыты, и вряд ли когда-нибудь раньше я так радовался восходящему солнцу, в теплых лучах которого постепенно отогревался...

Бекабад... Это был скорее большой кишлак с несколькими домами городского типа, нежели городок. Весь день ходил я по улицам, стараясь держаться солнечной стороны, чтобы изгнать из себя остатки ночного холода, выискивал среди прохожих своих земляков, останавливал их, расспрашивал. Тут и вправду я повстречал многих симферопольцев. Однако где люди из переулка Токтаргазы, никто мне сказать не мог.

«Может, их повезли в Фергану? — высказало предположение несколько человек. — И туда немало эшелонов с нашими проследовало...»

Так пролетел день, и начало темнеть. Один из земляков, которого я встретил на улице, пригласил меня заночевать у него. Тихо разговаривая, расспрашивая друг у друга, кто откуда родом, из каких мест, мы вышли за окраину Бекабада и, увязая по щиколотку в грязи, направились раскисшей и измолотой колесами арб дорогой; по обе стороны ее виднелись небольшие холмы, темнели деревья. Огромная круглая луна, то ярко сияя, то пропадая, пробиралась сквозь темные рваные лохмотья, которыми было обложено небо. Дорога стала постепенно забирать вверх, и вдруг я увидел длинные, убегающие вдаль ряды крупных, похожих на могилы бугров, ими было заполнено огромное пространство, и над всем этим зыбко парил голубоватый лунный свет. Не хватало лишь каменных плит или крестов, чтобы принять это место за кладбище. Кое-где появлялись люди, похожие на тени, и лишь чавканье у них под ногами свидетельствовало, что это не призраки.

— Тут мы и живем, — сказал мой благодетель. Он привел меня к одной из землянок. Над ней распростерло крону огромное раскидистое дерево, которое макушкой едва не задевало низко плывущие тучи. Мы осторожно спустились по земляным ступеням, рискуя поскользнуться и вывалиться в грязи, протиснулись в щель, завешанную мешковиной. Хозяин зажег коптилку. Мне предложил сесть на нары, сам расположился на кое-как сколоченной из досок табуретке. Его худое лицо заросло щетиной, вокруг шеи обмотан старый шарф, на голове матерчатая солдатская шапка с торчащими в стороны ушами и следом от звездочки впереди. Он подышал на красные от холода руки, потер их.

— К сожалению, не могу предложить раздеться, — виноватым тоном проговорил он.

Я понимающе кивнул, ничего, мол.

— И угостить вас, увы, нечем.

Я вынул из вещмешка купленную еще в Урсатьевске лепешку, кусок тутовой халвы, пару яблок, и приятный аромат сразу заполнил землянку. Я заметил, как он, не сводя глаз с этакого богатства, глотнул слюну и поспешно предложил:

— Давайте заморим червячка.

Ел он, однако, не спеша и при этом рассказывал, в каких нечеловеческих условиях люди тут живут уже более года.

— Когда же успели вырыть эти землянки? — спросил я.

— Они тут уже были. В них жили немецкие военнопленные...

— А теперь наши? Те, кто воевал с фашистами?

Он грустно усмехнулся:

— Их переместили в теплые бараки, а нас на их место... — он долго хрипло кашлял, прикрывая рот ладонями; отдышавшись, продолжал: — Год минул... Строим знаменитую Фархадскую ГЭС... Каждый день уносят на кладбище по десять-пятнадцать человек... Не знаю, много ли нас останется, если такое продлится еще год...

Мы просидели, разговаривая, до полуночи. Потом он сказал:

— Давайте укладываться, завтра рано вставать. Придется как-то расположиться на одних нарах...

Постели не было, если не считать двух потертых козых шкур. Он бросил сверху еще рваную курпачу. Мы улеглись валетом. Но уснуть я так и не смог. Перед самым рассветом я выбрался наружу, сел на обнаженные корни старой одинокой чинары и, закутив, стал обдумывать свое положение...

Уже имея некоторый опыт путешествия «зайцем», я в тот же день отбыл опять в тамбуре товарного вагона. В течение месяца изъездил, исходил всю Ферганскую область, побывал в Ленинабаде, Коканде, Маргилане, Андижане, Намангане, на нефтяных промыслах Ала-Мышык и уже отчаялся найти Фатму. Не попала ли она все же в далекую Сибирь? Говорят, на станциях всякое случалось: нередко эшелоны, следовавшие в Бухару, отправлялись не вязавшими лыка дежурными станций в Барнаул или Джекказган и наоборот...

Измотанный бесплодными поисками, убитый горем и чувствуя себя совершенно больным, вернулся я в Андижан. Я уже не знал, что мне делать и как быть. К тому же у меня вышли почти все деньги. Все чаще приходила в голову мысль: а не пойти ли добровольно в местную комендатуру, вдруг устроят на какую-нибудь работу? Но я тотчас прогонял ее. Ведь в лучшем случае пошлют строить Фархадскую ГЭС, копать котлован! Кому нужен нынче человек, умеющий обращаться лишь с пером да чернилами? И настанет ли такое время, когда можно будет об этом написать, о несчастье нашего народа, о собственных мытарствах? Времена меняются... На сегодня же главное — это уцелеть в страшных жерновах...

Уже была глубокая ночь, когда я, озябший, в промокшей обуви, приплелся на вокзал, зашел в тускло освещенный зал ожидания, надеясь немного согреться, а если повезет, найти место на скамье и хоть чуть-чуть отдохнуть. В поисках места я прохаживался между сваленными кучей узлами, чемоданами, скамьями, занятыми дремлющими и бодрствующими людьми. Взгляд мой скользил по лицам. Вдруг я остановился, мне захотелось вернуться. Одно лицо мне показалось знакомым. Какое же? Я пошел обратно, внимательно всматриваясь в людей. Пожилой, давно небритый мужчина, с желтым от лихорадки лицом сидел, скорчившись, подперев подбородок ладонями и отрешенно уставясь в одну точку. Я приблизился к нему и поздоровался. Он вздрогнул и поднял глаза. Он жил в Симферополе где-то неподалеку от нас, мне неоднократно приходилось встречать его на нашей улице. Но сейчас он не узнавал меня и пришлось представиться. По лицу его скользнуло подобие улыбки, и тут же на глаза его навернулись слезы; простуженным, глухим голосом он произнес:

— А я лишился всех своих близких... Похоронил в Чинабаде и мать, и отца, и жену, и детей... Остался один, как перст... Жизнь потеряла смысл...

А если я тоже не найду своих?.. Многие из тех, кто потерял всякую надежду, кончали с собой. Их находили на железнодорожных путях перерезанных надвое, в глухих заснеженных садах висящими на деревьях... Я сам нынче, как никогда, нуждался в утешении, но нашел в себе силы и произнес какие-то обнадеживающие слова, мол, в Москве рано или поздно разберутся во всем, и мы вернемся к себе на Родину, в Крым... Но его тусклые глаза так и остались тусклыми, и мне подумалось; вряд ли в них еще когда-нибудь загорится свет; он мне не верил и бормотал, вздыхая: «Может, кто и вернется... Может, кто и вернется...» К концу разговора он слегка оживился и сказал, что встретил недавно на улице Ягью Шерфединова, в котором с трудом узнал знаменитого в недавнем прошлом композитора.

— Где? Где вы его встретили? Он же мой сосед!.. — вскричал я и, не помня себя, схватил его за плечи, будто боялся, что он может исчезнуть или растаять, как призрак, как сон.

— В Чинабаде. Отсюда километров семьдесят... Торопливо распрощавшись, я выскочил на перрон. Но здесь с разочарованием узнал у дежурного, что Чинабад — это такая глухомань, куда и автобусы ходят не часто, не то что поезда...

И я тотчас отправился пешком. На рассвете меня нагнала двухколесная арба, и часть пути я проделал, сидя рядом с арбакешем, с которым у нас завязалась беседа, несмотря на то, что тряска к этому никак не располагала; затем арба свернула в сторону, а мне снова повезло: остальную часть пути я преодолел на грузовике, нагруженном целой горой набитых хлопком канаров. Кабина, правда, была занята, и я упросил водителя разрешить мне взобраться на верхотуру. «Своих, небось, ищешь? — спросил он с сочувствием и, получив утвердительный ответ, кивнул на заднее смотровое окно: — Полезай!» Держась за веревки, которыми были стянуты мешки, я вскарабкался на самый верх и лег поверх мокрого брезента. Пришлось вцепиться в веревки, чтобы не сдул встречный ветер или не слететь на одном из поворотов. Как бы то ни было, но еще до полудня я добрался до Чинабада.

Это был районный центр. В единственном двухэтажном здании размещались райком партии и райисполком. Все остальные — типичные кишлачные дома, приземистые, с плоскими крышами, на которых сложены копны сена и гузапаи. Неподалеку от площади с запущенными, засохшими клумбами находилась чайхана. У огромного самовара хлопотал чайханщик; на широких помостах, застланных паласами, сидело несколько мужчин, они пили чай и играли в шашки. Кривые узкие улочки в ненастье кажутся еще более серыми и унылыми и оттого, что нигде не видно ни одной побеленной стены. Проезжая часть вымощена булыжником, и пешеходы стараются ходить по ней, чтобы не вязнуть на тротуарах. Я несколько раз обошел автостанции, вглядываясь в людей, ожидающих попутных машин. Постепенно стал одолевать голод, и я направился к маленькому базарчику. И вдруг — боже ты мой! — увидел идущего мне навстречу Ягъя-ага Шерфединова, окончившего еще до революции Петербургскую Академию художеств, а при Советской власти — Московскую консерваторию. Если бы у меня не было в голове, что я могу его здесь встретить, и глаза мои не искали бы среди прохожих именно его, то вряд ли я узнал бы своего соседа, прошел бы, пожалуй, мимо, не взглянув.

Ко мне приближался, опустив низко голову, худющий, обросший седой старик, в рваном чекмене с чьего-то плеча, в шаркающих, незашнурованных громадных башмаках, из которых торчали голые пальцы.

— Ягъя-ага! — окликнул я, когда он поравнялся со мной. Несколько секунд он с недоумением смотрел на меня, пока, наконец, не узнал. Мы обнялись. Его выпирающие лопатки вздрагивали под моими ладонями. Он плакал, слезы сбегали по впалым щекам и исчезали в седой бороде.

— Дорогой мой, что с нами сделали? Что сделали?.. — тихо приговаривал он.

— Терпенье нам нужно, Ягъя-ага, терпенье... Главное — выжить... — бормотал я в ответ.

Мы зашли в чайхану. Я заказал лепешку и чайник зеленого чая.

— Тяжелое у нас положение, очень тяжелое... Люди мрут, как мухи, — говорил со страдальческим выражением лица Ягъя-ага Шерфединов.

— А я слышал, что вы еще до оккупации успели эвакуироваться, — сказал я.

— Да, эвакуировался. В Ташкенте прожил все эти годы. Четыре года был музыкальным руководителем театра имени Муками... А когда наши освободили Крым, я, счастливый и радостный, не задерживаясь более ни дня, срочно выехал... Но едва я в Симферополе сошел с семьей с поезда, нас тут же, на вокзале, пересадили в товарный и отправили обратно... С той поры я в Чинабаде. Подметаю базар и улицы возле чайхан. Когда дадут за это кусок хлеба, а когда и нет...

— А театр? Вас же там знают!

— Писал много раз. Никакого ответа. Мы все теперь для них изменники...

— Ладно, они могут так думать о других, но вы-то всю войну проработали здесь...

— Им велено считать таковыми всех. И они не делают исключения... Я заметил, как на глаза Ягъя-ага вновь навернулись слезы; он быстро отвернулся, чтобы скрыть их, провел по лицу рукой и стал рассказывать о племяннице. У него была совсем юная племянница. Я хорошо помнил ее, красавицу Айше Крымтаеву. Задолго до оккупации она эвакуировалась в Азербайджан. Жили они в годы войны в Кировабаде. Мать Айше умерла, и она осталась одна. Как только Крым освободили, она тотчас вернулась на родину. Но ее вместе со всеми отправили в Узбекистан. А в Кировабаде у нее остался жених, азербайджанец. Они переписывались. Он звал ее в каждом своем письме. И она поехала... Ее задержали в пути и осудили — на двадцать лет. Сослали в Черную Лялю. Там она и умерла. Кто-то прислал оттуда родственникам письмо, в котором сообщил об этом...

Лепешка была съедена, чай выпит. Ягъя-ага закончил свой рассказ. Мы долго сидели молча. Я все порывался спросить о главном, ради чего, по сути, сюда приехал, но не

хватало решимости, боялся услышать страшный для меня ответ. И все же, собравшись с духом, спросил:

— Ягъя-ага, вы не знаете, где моя Фатма? Жива ли?..

— Фатма здесь, неподалеку. В колхозе. Там очень трудно нашим. Особенно тем, кто с детьми... Усидеть на месте я более не мог.

Мы вышли. Ягъя-ага объяснил, как добраться до этого колхоза. Узкая длинная улица вывела меня на окраину поселка, к хлопкопункту, где за высоким дувалом, увитым поверху колючей проволокой, возвышались огромные, многоэтажные гурты хлопка. Проселочная дорога, обсаженная по краям молодыми тутовыми деревцами, убегала вдаль, разделяя надвое обширное непаханое поле с нескошенной гузапаёй. Она была присыпана щебенкой, и идти по ней было легко. Я шагал, не чувствуя ног, душа летела впереди меня. Прошагав километра три, я увидел широкий пригорок, который дорога огибала справа. От дороги отделялась тропинка и вилась по пригорку среди могил и сереющих каменных плит. Я свернул на тропу, как меня наставлял Ягъя-ага, и направился напрямик через кладбище. Тут было очень много свежих могил. Ни памятников на них, ни надмогильных плит. Лишь вбита возле каждой могилы маленькая дощечка, а на ней надпись химическим карандашом, арабским шрифтом. На многих дощечках надписи обильно смочены дождями, но прочесть еще можно, а с некоторых и вовсе смыты. Имена покойных, время и место рождения. И имена-то все наши крымские...

Выбрав тропинку, я значительно сократил себе путь. Миновав кладбище, стал спускаться с пригорка и увидел невдалеке кишлак, вокруг которого кое-где чернели островками сады.

Я шел по кишлачной улице, моля провидение послать мне навстречу кого-нибудь. С противоположной окраины доносились протяжные голоса, то сливающиеся в жутковатый подвывающий хор, то дробящиеся на отдельные всхлипы. Там, кажется, оплакивали покойника...

Навстречу мне шла женщина с двумя ведрами воды. Она была в узбекском платье свободного покроя и накинутом на плечи камзоле, каких в Крыму не носили, но я легко узнал в ней свою землячку, поздоровался, спросил, не знает ли она в каком доме проживает Фатма, Аметова Фатма. Женщина с любопытством оглядела меня и кивнула на соседнюю калитку, над которой простирали ветви росшая во дворе старая шелковица.

Я постучал, но дожидаться ответа не хватило терпения, и я вступил во двор. Дворик оказался совсем маленьким, чуть ли не весь был прикрыт как зонтом, кроной дерева, благодаря которому летом тут, наверное, довольно прохладно. Под шелковицей стоял широкий сури¹, весь испятнанный курами и порхающими в кроне дерева птицами. Как видно, на нем сживали и спали только летом. Чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, я медленно поднялся по ступенькам на широкий длинный айван², на который выходили несколько окон и две двери. Мне навстречу вышла худощавая женщина лет пятидесяти, в белом платье свободного покроя и черной нимче — короткой бархатной безрукавке. Я поздоровался.

— Кто вы будете? — Спросила она, ответив на приветствие.

— Мне сказали, что у вас проживает моя жена. Я вернулся с войны.

— А кто ваша жена? Не Фатма ли?

— Да, да, ее зовут Фатма!..

— Вай, Худойим³, радость-то какая! — воскликнула она и, зарыдав, кинулась в конец айвана, к другой двери, махнув рукой, чтобы я последовал за ней.

У двери она остановилась, осторожно приоткрыла ее и, просунув голову в темную комнату, тихонько позвала:

¹ Сури — широкая деревянная кровать в виде помоста.

² Айван — веранда, терраса.

³ Худойим — Боже мой!..

— Фатмахон! Муж приехал!

Я не услышал, чтобы кто-то откликнулся. Хозяйка не смогла более произнести ни слова, обернувшись, бледная, комкает платье на груди, по щекам бегут слезы. От недоброго предчувствия у меня оборвалось сердце. Я отстранил ее в сторону и шагнул в комнату. Окно было завешено. В полумраке я заметил в углу комнаты еще одну дверь, устремился было туда, но тут, как из-под земли, до меня донеслись глухие тихие стоны. Возле стены, на земляном полу, поверх ветхого ватного одеяла лежала моя Фатма. Глаза открыты, устремлены куда-то в потолок. Рядом с ней спала прикрытая тряпкой девочка.

— Фатма! Милая моя, это же я! Не узнаешь? — я опустился возле них на колени.

Она устремила на меня долгий взгляд, и глаза ее стали постепенно наполняться слезами. Оттого, что она ничего не говорит, мне сделалось не по себе, даже страшно. Девочка не спала, она безразлично посмотрела на меня и опять сомкнула красные, воспаленные веки. И не пошевелилась. Это же моя дочь! Мне захотелось схватить ее на руки, прижать к груди, приласкать, и я даже просунул под нее руки и вдруг испугался, что она рассыплется. Она была невесомая, кожа да кости. Я не рискнул ее трогать. А жена все глядела на меня, и я понял, что она не может говорить...

Я вскочил, сорвал с окна одеяло. В двух ячейках рамы не было стекол. В комнате стало светло, хлынул свежий поток воздуха. Я выбежал во двор. Хозяйка сидела на сури и плакала.

— Скажите, что с Фатмой? Она молчит. Больна? Что за болезнь?

— Нет! — отрицательно покачала головой женщина. — Они не больны, они голодны. У меня в доме ничего не осталось, чтобы их кормить...

— Голодные? Моя жена? И дочь?

Я метнулся к калитке и побежал вдоль улицы, на ходу щупая карман, где оставалось немного денег. Дорогу я теперь уже знал и менее, чем за полчаса, был в Чинабаде. Прямоком поспешил на базар. Начало смеркаться, и за прилавками почти никого не было, если не считать трех-четырех пожилых людей, продающих дрова, сложенные по три и по пять поленьев. Да, на мое счастье, у крайней стойки задержалась женщина, у которой оставалось несколько непроданных загары, маленьких лепешек из кукурузной муки, которые я тотчас и купил. У выхода с базара сидел на корточках старик и продавал простоквашу в глиняных горшочках, рядом стоявших перед ним на досточке. У меня не было никакой посуды, я попросил старика продать мне простоквашу вместе с горшком. Он долго не соглашался, твердя, что таких горшков он потом нигде не найдет.

— Отец, — сказал я по-татарски. — Жена и дочка умирают. Я только что вернулся с войны, должен их спасти...

Не знаю, слова ли мои подействовали или вид мой убитого горем человека был красноречивее слов, но он взял горшок и молча сунул его мне в руки. Я протянул деньги, он отказался от них.

В мясном ларьке висела говяжья печенка, усохшая и запыленная, купил я и ее. В ближайшей чайхане, из окон которой падал на мокрый тротуар свет, разжился парой горячих лепешек из пшеничной муки. Прижимая этот драгоценный груз к груди, я почти бегом припустился обратно в кишлак. Когда приблизился к дому, уже совсем стемнело. В кроне шелковицы жутковато покрикивала сова. Возле калитки я увидел женщину. Она была без одной ноги, правой рукой зажимала костыль, левой опиралась на палку; по всему, ждала меня.

— Подождите, — остановила она меня. — Не торопитесь. Дайте я сама их покормлю. Иначе вы их погубите...

Мы вместе направились к дому. Я как мужчина, наверное, должен был пропустить ее вперед, но мне показалось, что она слишком медлительна; обойдя ее, я влетел в дом. В комнате мерцала коптилка, огонек заметался, грозя погаснуть.

— Фатма! Фатма! Я сейчас накормлю вас!

Женщина, перенеся свое тело через порог, прислонила костыль и палку к стене. Я помог ей сесть на краешек одеяла рядом с Фатмой и положил перед нею то, что принес. Женщина перебрала все и подняла на меня озабоченный взгляд. «Не очень-то густо!» — прочел я в ее глазах. Но вслух она ничего не произнесла, наверно, поняла, почему не густо.

— Захида-апа! — позвала она хозяйку и попросила у нее пиалу.

Налив в пиалу простокваши, принялась с ложечки подкармливать поочередно дочь, потом жену, дочь, жену... Однако ей пришлось изрядно помучиться, пока заставила девочку открыть рот, который у бедняжки словно бы свело судорогой.

Ложечку — девочке, ложечку — матери...

При этом, чтобы хоть как-то отвлечь от горьких мыслей и меня, она рассказывала о себе. Родом из Керчи. А зовут Зейнеб. Она была немногим старше меня; когда она заканчивала в Симферополе медицинский институт, я еще только поступил в педагогический. А знает она об этом потому, что ее младшая сестра Зылха училась со мной на одном курсе, и она же, когда я позднее начал писать, приносила домой мои книги и говорила; «Вот с этим автором мы вместе учились!» Бедняжка Зылха недавно померла, тут похоронена, на местном кладбище. Не прошло недели как сорок дней отметили...

Да и с самой Зейнеб жизнь сыграла вон какую шутку: в расцвете лет, можно сказать, калеккой сделала. Зейнеб участвовала в обороне Севастополя с первого и до последнего дня. Она перевязывала раненых, когда в лазарете разорвался снаряд. Ей оторвало ногу... Когда Севастополь пал и в город вошли фашисты, ее приняло к себе ютящееся в подвале среди развалин семейство; дали ей одежду, чтобы переделась в гражданское, выдали за свою, родную... Они за ней и ухаживали, пока там немцы были, вылечили, выходили... А когда Севастополь наши, наконец, освободили, Зейнеб собралась было поехать в Керчь, домой, но не успела: вместе с принявшим ее семейством и отправилась в ссылку. Сестру по дороге встретила — она в соседней деревне у подруги была, там и застала ее беда. Ни Зейнеб, ни Зылха не видели больше ни отца, ни мать, не знают, где они, живы ли. Разве просто найти их? Теперь только и делает, что пишет во все края. А ответа никакого...

Вдруг до меня донеслись стоны. Я испуганно глянул на Фатму. Но это стонала не она. Голос донесся из-за маленькой дверки, ведущей в другую комнату. Я вскочил и заглянул туда.

В нашей комнате хоть как-то светила коптилка, в которую было налито вместо керосина хлопковое масло, а тут стояла кромешная тьма. На полу кто-то пошевелинулся.

— Кто здесь? — спросил я и чиркнул спичкой.

На грязной свалывшейся кошме лежали две женщины, закрыв глаза и сложив на груди руки. Дыхание их было настолько слабым, что их можно было принять за мертвецов. Кажется, они и впрямь, смирясь с судьбой, приготовились умирать.

Спичка, догорев, обожгла мне пальцы.

— Кто они? — спросил я.

— Это немки, сестры, — сказала Зейнеб. — Они приехали с нами. В кишлаке есть еще болгары, румыны...

Мне рассказали, что немало румын и болгар дезертировало из немецкой армии, не желая воевать на стороне фашистов. Бежали они в леса, горы, вступали в партизанские отряды. Многие из них говорили по-крымскотатарски, и научились они этому языку еще у себя в Румынии, где с давних времен живут татары из Крыма.

Когда фашистов из Крыма вышибли, они вместе с товарищами спустились с гор, пришли в деревни и временно поселились в домах у вчерашних партизан, радуясь тому, что остались живы. И вместе с ними были сосланы...

Я попросил Зейнеб, чтобы она покормила и этих женщин. Затем выглянул на айван и, позвав Захиду-апа, сказал ей, чтобы она зажарила печенку: ведь нам тоже надо было подкрепиться. Завтра я, конечно, опять чуть свет побегу на базар...

Я предложил Зейнеб остаться на ночь у нас, она согласилась. Прилегла рядом с Фатмой. Я постелил подле окна шинель и устроился на ней, положив голову на локоть. Спать таким образом мне было не привыкать, но в этот раз уснуть мне не удалось. Зейнеб несколько раз поднималась и при свете чадающей коптилки давала Фатме и Диляре по маленькому кусочку смоченной в простокваше лепешки. Несколько раз наведалась она и в соседнюю комнату...

Услышав, как хозяйка вышла спозаранок из дому и подметаает айван, я не смог оставаться на месте, поинтересовался у Захида-апа, есть ли у нее хоть какая сумка. Она дала мне старую плетеную корзину, у которой одна ручка едва держалась, а вместо другой была пришита тряпка, и небольшой эмалированный бидон. Я поспешил было со двора, но, распахнув калитку, чуть ли не нос к носу столкнулся с двумя солдатами НКВД, которые пытались, как видно, что-то разглядеть сквозь щели. Я попятился. У меня потребовали документы. Я извлек их из нагрудного кармана гимнастерки и предъявил. Солдат сунул мои документы себе в карман, даже не заглянув в них, и потребовал, чтобы я проследовал с ними в комендатуру в Чинабад. У меня мелькнула мысль, что с этой корзиной и бидоном я выгляжу, наверно, довольно нелепо, но без них мне было не обойтись, и я зашагал за свалившимися на голову гостями... Я спешил, и солдаты за мной едва попевали. Однако это не мешало им насмехаться надо мной, мол, мне бы не воинскую форму носить, а скорее юбку, вместо фуражки же лучше надеть платок... Хотелось обернуться и дать им обоим в зубы. Но я знал, чем это чревато, и неизвестно, когда я вновь попаду домой. Я предпочел не ввязываться с ними в пререкания и шагал, сжав зубы...

Комендант, не предложив мне даже сесть, откинулся на спинку стула и, барабанив по столу пальцами, более минуты сверлил меня взглядом. Потом небрежно взял мои документы, положенные солдатом на краешек стола.

— Фамилия?

— Там написано, — сказал я.

Он окинул меня тяжелым взглядом и вдруг заорал:

— Отвечайте, когда вас спрашивают!

Пришлось назваться. Перелистывая документы, он продолжал задавать вопросы касательно мест, где я воевал, когда демобилизовался, откуда прибыл, сверяя мои слова с тем, что написано. Затем составил протокол допроса, зачитал и потребовал расписаться. После чего предупредил:

— Вы взяты на учет. Без моего письменного разрешения из района ни шагу. Понятно?

— Не совсем. Я вернулся с фронта, имею награды...

— Что вы все за недоумки какие-то, ничего не понимаете с первого раза?! Про фронт, про награды мне талдычите! Может, вас тоже на двадцать лет за Полярный круг отправить, чтобы научились все сразу понимать?!

— Как вы со мной разговариваете? — не выдержал я. — С офицером, старшим по чину?!

— Ха-ха!.. — деланно рассмеялся он, поднимаясь с места и большими пальцами обеих рук вправляя под ремень гимнастерку.

— Нашелся старший... Я для вас — царь и Бог! Зарубите это у себя на носу! Вопросы есть?

Я думал только о том, как бы поскорее оказаться на базаре и вернуться домой с покупками. Вопросов у меня не было, и я повернулся к двери.

— Стойте! — раздался у меня за спиной резкий окрик. — Я вам еще не разрешил идти! Вы все поняли?

— Все.

— Что именно вы поняли?

— Народ наш оказался в нечеловеческих условиях...

Он прищурил глаза, пронизывая меня ими насквозь:

— Вас это не устраивает?

К горлу подступил ком, мешая вырваться оттуда крику: «Как вы смеете? У меня умирают с голоду жена и ребенок! Если бы я не вернулся вчера, то уже не застал бы их в живых!» Но, взяв себя в руки, я севшим голосом как можно спокойнее произнес:

— Разрешите идти.

— Вот так-то! Идите...

Я поспешил на базар уже знакомой улицей. Вкусный запах привлек меня к чайхане. Под навесом в огромном котле варили шурпу с жирными кусками мяса. Я попросил грузного краснощекого ош-паза¹ налить мне полный бидон наваристой шурпы да опустить туда несколько кусков мяса; у чайханщика купил несколько горячих лепешек и поспешил домой.

Зейнеб на этот раз покупку мою одобрила. Покосившись на Фатму, которая, кажется, уснула, она шепотом спросила:

— Зачем приходили солдаты?

— Теперь я тоже «спецвыселенец», — усмехнулся я.

— С чем вас и поздравляю. Благодарите своего усатого баба². Зейнеб пробыла с нами три дня. Когда Фатма чуть-чуть окрепла и уже могла, подложив за спину подушку, сидеть, она объяснила Захиде-апа, что можно варить для трех истощенных женщин и ребенка, сколько раз в день кормить их, по сколько давать, и покинула нас, пообещав проведывать. Я хотел проводить ее до дому, но она распрощалась со мной у калитки и довольно проворно направилась вдоль улицы, опираясь на костыль и палку, подскакивая на одной ноге...

Каждое утро спешил я теперь на базар и возвращался с продуктами. Захида-апа затем варила обед. Наконец, дождавшись ее приглашения к столу, мы все вместе подсаживались к низенькой круглой хонтахте и ели деревянными ложками из одной большой миски. Иногда к нам присоединялась и дочка Захиды-апа, которая на субботу и воскресенье приезжала из Андижана, где училась в пединституте. Во время еды мы о чем-нибудь разговаривали, мешая узбекские и крымскотатарские слова. А Криста и Нина Миллер, оказывается, тоже превосходно говорили по-нашему. Лица у сидящих за хонтахтой все еще были болезненно бледные, я с тревогой поглядывал на них и радовался каждому шутивому слову, каждой улыбке. Они словно чувствовали это и улыбались чаще. И вдруг все разом умолкали, с испугом глядя в окно. По улице мимо нашей калитки каждый день проносили на кладбище умерших. А то и по несколько раз. Случалось, везли на арбе целую семью, прикрыв сверху рогожей, а из-под нее торчали землистого цвета ступни, большие, поменьше и совсем крошечные...

Дольше всех выздоравливала моя крошечная Диляра. А когда к ней вернулись хоть какие-то силенки, она стала бегать по комнате, скакать. Иногда ножки ее подламывались, она вставала и вновь принималась прыгать. Личико у нее порозовело, золотистые, как у матери, волосы обрели блеск. Ей уже шел пятый годик...

В июне 1941 года, прибыв в полк, я выслал Фатме аттестат на шестьсот рублей в месяц. Но Симферополь вскоре заняли немцы, и аттестата получить она не успела. С меня же все эти годы бухгалтерия полка удерживала эту сумму. Выходит, денег не получили ни Фатма, ни я.

От Фатмы я узнал о печальной участи моего старшего брата Бари. Я очень любил Бари-ага и уважал, как отца. Он рассказывал мне много захватывающих историй, приключавшихся с ним, и, слушая его, я восхищался им и радовался, что он, пройдя через такие испытания, остался все-таки жив...

Бари-ага в 1914 году был призван в царскую армию. Был в казачьей коннице, провоевал три года, получил два Георгиевских креста, а в 1917 году перешел в Красную

¹ Ошпаз — повар.

² Баба — отец. Имеется в виду Сталин.

Армию. В 1918 году вступил в партию большевиков. А потом, в 1920-м, участвовал во взятии Крыма, штурмовал Перекоп...

В июне 1941 года Бари-ага добровольцем ушел на фронт. Теперь ему пришлось оборонять Перекоп, который он некогда брал штурмом. Он получил тяжелое ранение. Товарищи, отступая, несли его на носилках. Принесли в Ялту и поместили в госпиталь. А несколько дней спустя в город вторглись немцы. Наши отступили: кто к Севастополю подался, кто к Керчи. Командование не успело эвакуировать раненых, они все, кто не мог двигаться, остались в госпитале. Бари-ага знал, как фашисты поступают с коммунистами, он собрал последние остатки своих сил и уполз из госпиталя. Три дня и три ночи карабкался он, истекая кровью, то и дело теряя сознание, по крутым, известным ему с детства тропинкам через Ауткинский перевал и добрался-таки до родной деревни Махульдур. Жена, Айше-енге, спрятала его в доме, выходила, вернула, можно сказать с того света... Бари-ага, как только выздоровел, наладил связь с партизанами. Они не раз в самое тяжкое для них время спускались с гор и собирались в его доме...

Когда почти вся территория Крыма была освобождена от оккупантов, а бои все еще шли только под Севастополем, моего Бари-ага назначили председателем райисполкома. Однажды он выехал в Симферополь по срочным делам. А наутро все коренное население Крыма было выслано...

Бари-ага попал в поселок Шахрихан, что находится где-то тут, неподалеку. Долго искал семью, но не нашел. От голода он уже не мог передвигать ноги. Потом упал где-то на улице и умер...¹

Кошелек мой с каждым днем становился все тоньше. Чтобы как-то жить дальше, надо было искать работу. Но с кем бы из своих земляков я ни советовался, слышал одно: руководители местных учреждений даже разговаривать с крымскими татарами не желают, то же — в райкоме партии и исполкоме; крымских татар охотно берут лишь в шахты углекопами и еще грузчиками на заводах или перевалочных базах, а женщин обычно посылают на сбор хлопка. У меня после ранения болело бедро, где все еще сидело несколько мелких осколков, на такую работу я не был способен.

Я пошел в правление колхоза, встретился с председателем, спросил, не найдется ли у него подходящей работы.

— С лошадьми когда-нибудь дело имел? — спросил он, сразу обращаясь на «ты».

— Кавалеристом был... — пожал плечами.

— Ну и превосходно, мне нужен арбакеш. В колхозном дворе стоит арба, ее только слегка починить нужно. Я скажу конюху, чтобы дал тебе лошадь, есть там одна; на один глаз, правда, кривая, но ты не обращай внимания, она еще года три-четыре протянет. Словом, запрягай и езд!

Я сказал, что подумаю, и, поблагодарив, ушел. Работа арбакеша была не из легких. Если застрянешь где, весь груз на себе перетаскивать приходится — то разгружай, то нагружай, — а иной раз и свалившуюся с ног лошадь поднимать. Однако я, пожалуй, не стал бы выбирать, если бы бедро не болело...

Не особенно надеясь на удачу, я в один из дней отправился в Чинабад, рассчитывая найти работу там. Мне сказали, что в районной средней школе работает директором бывший фронтовик, который вернулся недавно после лечения в госпитале. Солдат солдата понять должен, и я пошел к нему. Он принял меня приветливо, пожал руку, предложил сесть, подал пиалушку чаю. Узнав, что я по профессии учитель и хотел бы работать в его школе, задумался и долго сидел, сомкнув пальцы. Вздохнув, махнул рукой, на что-то решившись:

— Наш завуч подал заявление об уходе. Инвалид войны он, работать ему трудно. Возьму-ка я вас на его место...

¹ Айше-енге два года спустя приехала в Узбекистан из Марийской АССР, похоронив там троих детей, а вскоре и сама умерла в нищете.

Ровно месяц и двадцать дней проработал я в этой школе, был завучем и преподавал геометрию.

Из района нарочным прислали приказ, по которому я освобождался от преподавательской работы. А заведующий района, говорят, крепко отчитал по телефону директора за то, что он, принимая меня на такую ответственную работу, не упомянул в разговоре с ним о моей национальности.

Директору, видно, непросто было объясняться со мной по этому поводу. Поэтому он ушел домой, хотя у него были еще уроки в старших классах, оставив приказ на своем столе и велел секретарше, чтобы она показала его мне. Она это сделала не без смущения. Пока я читал, она стояла и смотрела в сторону, будто чувствовала себя в чем-то повинной. А меня будто окатили ушатом грязной воды. Буквы перед глазами расплывались. Я перечитывал приказ, и смысл его доходил до меня с трудом. Секретарша, наконец, взяла у меня листок и положила на стол.

Придя домой, я, не раздеваясь, прямо в шинели, сапогах прошел в комнату, сел на кошму и обхватил голову руками. Как дальше жить?

Фатма, только глянув на меня, поняла, что произошло. Села молча рядом, прижалась к моему плечу. Напротив, сидя на вытертой кошме, дочка наша играла с тряпичной куклой, которой я сам, как умел, нарисовал лицо химическим карандашом, глаза, нос, рот, брови. Диляра очень любила эту куклу и, играя, все время кормила ее и приговаривала; «Не умирай, моя куколка! Скоро с войны придет папочка и привезет тебе хлебушка...»

Диляра уже выглядела вполне здоровым ребенком. Но что будет со всеми нами, если я не смогу найти работу?

Дочка все еще не свыклась с мыслью, что я ее отец. Всякий раз, когда мы укладывались вечером спать, она подозрительно глядела на меня и спрашивала:

— А почему ты живешь в нашей комнате?

— Потому что я твой папа, — отвечал я.

— А почему тебя с нами не было, когда мы сюда ехали долго-долго?

— Я был на войне, доченька. Дрался с врагами, чтобы защитить вас, чтобы народ наш был свободный, счастливый...

— А мы счастливые?

Жена при этом вздыхала. А я, хмурясь и стыдясь собственного лицемерия, отвечал:

— Да, да, доченька, очень счастливые. И с опаской думал о том, что ребенок может на улице, при людях сказать нечто такое, за что нам потом не поздоровится.

Мы долго сидели с Фатмой, не произнося ни слова. Потом жена погладила меня по плечу и сказала:

— Не унывай, все равно самое трудное позади. Теперь не умрем. — И, встав, принялась чистить картошку, чтобы пожарить ее к обеду. А я сказал Диляре:

— Пойдем, доченька, погуляем.

Я надел на нее пальтишко, из которого она давно выросла, она взяла куколку, и мы вышли на припорошенную снегом улицу. Прошли немного, и кишлак кончился. Дальше за чернеющими деревьями небольшого сада виднелась голая степь, которая простиралась до самого горизонта.

— Дядя, а что это у тебя на плечах? — спросила дочка.

— Не дядя, а папа, — поправил я ее. — А на плечах у меня погоны. Их носят военные.

— Ты военный?

— Да, военный.

— А почему ты свои погоны то снимаешь, то опять пришиваешь?

— Я их не снимаю, доченька. Солдаты... срывают... Мы постояли немного на ветру, с удовольствием вдыхая прохладный чистый степной воздух. И все же в Крыму воздух был какой-то другой, морем пах, что ли, и еще травами, которые росли только в наших горах; еще не успеет, бывало, растаять снег, а в вышине уже вовсю звенят жаворонки... Мы повернули обратно, и по дороге я рассказывал дочке о нашей крымской степи, о склонах

гор, покрытых лесами, в которых живут олени, причудливые птицы... Я немного прихрамывал. Побаливала рана. Но куда сильнее ныло сердце. Чтобы утолить эту боль, глаза мои должны видеть то, к чему они привыкли с детства... Но где же все-таки искать работу? Может, и нашлась бы работа, но ведь нельзя шагу сделать за пределы района, а тут ничего мало-мальски подходящего нет. Что же теперь, умирать? Не рискнуть ли съездить в областной центр? Есть же, наверное, там здравомыслящие люди, которые выслушают, поймут. Объясню им свое положение...

Когда мы с дочкой пришли домой, картошка была дожарена, комната полна аппетитного аромата, и мы сели обедать...

Чтобы экономить в светильнике масло, спать ложились рано. Тяжелые мысли ворочались у меня в голове, не давая сомкнуть глаз. Минула полночь, в окно светила луна. Я тихонько встал, стараясь никого не беспокоить, и быстро оделся. Незачем тянуть время, коль уж решил наведаться в Андижан. Посмотрим, что там скажут...

Дул теплый южный ветер, раскачивая влажные ветви деревьев. Где-то хрипло каркала ворона. Я направился не по дороге, где легко можно было наткнуться на заставы и оказаться в руках бдительных солдат комендатуры, а по вязкой тропинке, протоптанной прямо через хлопковое поле. Под сапогами чавкал талый снег, ноги разъезжались, местами приходилось обходить огромные лужи, увязая в грязи по щиколотку. Но как бы то ни было, часам к восьми, когда начинает работать большинство городских учреждений, я был уже в Андижане. Помыл в арыке насквозь промокшие сапоги и зашагал по улице. Несмотря на ранний час, всюду было много людей. Мне казалось, что на меня смотрят с подозрением — знают, что у меня нет разрешения коменданта, и сейчас донесут...

Я зашел в чайхану, решив чего-нибудь перехватить и согреться чаем. Огромный самовар только что вскипел, прямо-таки клокотал, исходя паром. Я съел целую лепешку и выпил чайник чаю с парвардой, обдумывая при этом дальнейшие свои действия. Выйдя из чайханы, я отправился напрямик в областное управление НКВД. Как ни крути, как ни верти, а судьба каждого крымского татарина целиком зависит от этой организации.

Я зашел во двор и поднялся по ступенькам парадной двери. В коридоре слева от входа сидел за столом лейтенант. Я сказал ему, что мне надо увидеть начальника отдела по спецвыселенцам.

— Тебе надо. А надо ли ему? — пробурчал лейтенант, пронизывая меня взглядом. — Документ!

Я предъявил военный билет. Он полистал его.

— Разрешение давай! — потребовал он и потер большой и указательный пальцы.

Сначала я не понял, что означал этот его жест.

— Спешил, не успел взять.

— В таком случае поспеши-ка скорее отсюда! А то арестую сейчас и отправлю в областную комендатуру. А оттуда тебе прямая дорога в Черную Лялю на двадцать лет!..

— Я вас очень прошу, — проговорил я почти умоляющим голосом, мысленно презирая себя, что унижаюсь перед этим ничтожеством. — У меня очень важное дело.

— Важное, говоришь? — ухмыльнулся он. — У всех у вас только важные дела. Давай разрешение! — и он снова потер палец о палец.

— Я же сказал, не успел...

— Тогда чеши поскорее отсюда! — и он вскочил, чтобы вытолкнуть меня из коридора, но в этот момент я смекнул, что означал его жест, и кинул на стол пачку «Беломора»; он ухмыльнулся и потребовал: — Еще одну!

Я сказал, что больше, к сожалению, нету.

Он скорчил недовольную мину и кивнул на длинный темноватый коридор, в конце которого светилось зарешеченное окно:

— Ну... давай быстрее! Четвертая дверь слева. — И крикнул вслед: — Да не засиживайся там!

Можно подумать, мне там приготовили такую встречу, что можно и засидеться.

Я легко нашел кабинет начальника отдела по спецвыселенцам, тихонько постучав, открыл дверь:

— Разрешите?

За большим письменным столом с зеленым суконным верхом сидел мужчина с одутловатым красным лицом в чине майора. Он поднял лишь на мгновение глаза и вновь опустил, продолжая читать какую-то бумагу.

Кабинет был просторный. Я плотно закрыл дверь и приблизился к начальнику.

— В чем дело? — спросил он, не прерывая чтения. Обычно нам не приходилось объяснять, кто ты, зачем пришел, достаточно было произнести: «Я — крымский татарин», — как все становилось ясно. Я не был уверен, что он меня слушает, и потому молчал.

Солдаты чинабадской комендатуры несколько раз срывали с моих плеч погоны. Но почему-то не отбирали, как у некоторых, а совали их мне в руку. С одной стороны, поступок их не мог не возмущать меня, а с другой — я, наверное, должен быть им благодарен, что они не лишили меня погон вовсе, и я имел возможность снова нацепить их, когда в том была необходимость. Сейчас я стоял перед майором в погонах общевойскового капитана.

Наконец, майор закончил чтение и встал. Он был коренаст, лет сорока пяти, уже начал полнеть, однако еще не был толстым; подошел к окну, открыл форточку и сел на стул боком к подоконнику, на котором стояла пепельница. Мне сесть не предложил. Я подошел к кожаному дивану и тоже присел неподалеку от него.

— Откуда вы? — спросил он, раскурив папиросу и разгоняя рукой дым.

Я сказал, откуда и зачем пришел.

— На какой должности работали до войны? Я ответил.

— А на фронте? Были строевым командиром?

— Так точно, — утвердительно кивнул я.

— А почему не работали в редакции одной из армейских или фронтовых газет?

Такого вопроса мне до сих пор никто не задавал. А давно должны были задать.

— В самом начале войны, когда я прибыл в Одесский военный округ, мне предложили пойти работать в армейскую газету. Я отказался. Попросился на фронт.

— Позвольте... — удивился майор. — Разве это зависело от вашего хотения или нехотения? Это же война!

— Совершенно верно, война, — кивнул я. — Я не мог не пойти в полк командиром взвода или роты, но, будучи строевым командиром, не идти на работу в редакцию газеты моральное право имел. — Помолчав, пока он вникнет в услышанное, я добавил: — Тем более, что желающих попасть в редакции газет было хоть пруд пруди...

Выпустив из носа сизоватый дым, майор улыбнулся. Похоже, объяснение мое он нашел не лишенным логики.

— Та-ак... — протянул он. — И что же вы теперь хотите? Предложить вам работу по вашей специальности я не могу...

Впервые служащий НКВД разговаривал со мной спокойно, без раздражения, по-человечески.

— По крайней мере, позвольте, мне с семьей переехать на жительство в Андижан. В кишлаке мне, негде работать. На физическую работу я пока что не гожусь. Поступил было преподавателем в школу, уволили...

Майор раздавил папиросу о дно пепельницы, опустил голову и долго молчал. «Быть может, думает о том, как мне помочь?» Я тоже молчал, не желая ему мешать.

— Ладно, — произнес он, не поднимая головы. — Мы разрешим вам переехать в Андижан. Только с условием, что сами себе найдете работу.

— Попробую. Однако с нами, крымскими татарами, никто не считается...

— Знаете что... — сказал он, почесывая подбородок указательным пальцем. — Советую вам пойти в областной комитет партии. Попробуйте-ка добиться приема у

первого секретаря Шубладзе. Можете ему сказать, что были у меня. Моя фамилия Герсин. Если он даст согласие, чтобы вас взяли на работу в областном центре, то вы получите разрешение на переезд...

— А если нет?..

Он пожал плечами.

Поблагодарив его, я вышел.

Следуя по многолюдным улицам большого шумного города, я машинально озирался, словно преступник, опасаясь, как бы не попасться на глаза патрулям внутренних войск, шаптающим повсюду с единственной целью — выслеживать таких, как я. Оказывается, способность человека адаптироваться к новым условиям, приспособливаться к ним просто удивительна. В последнее время из всех человеческих чувств преобладающим стало у меня чувство самосохранения, выработалось даже нечто вроде инстинкта, присущего, наверно, животным, на которых ведут охоту. «Вдруг они сейчас появятся вон из-за того угла?» — пронизывала, словно электрический ток, мысль, и я спешил перейти на другую сторону улицы. Потом мне вдруг пришло в голову, что патрульные не имеют права задерживать меня сегодня, — ведь я был на приеме у самого Герсина, распоряжающегося судьбами «спецвыселенцев» всей области. Эта мысль немного успокоила, но ненадолго. «Попробуй-ка еще патрулю доказать, где ты был и с кем разговаривал! Пока будут «выяснять» да «уточнять», продержат взаперти несколько суток...»

Так я, советский офицер, пробирался по советскому городу, думая лишь об одном, как бы благополучно добраться до обкома партии. Трехэтажное серое здание его располагалось неподалеку от железнодорожного вокзала. И когда, завернув за угол, я его, наконец, увидел, то испытал облегчение и радость, сравнимую разве что с радостью человека, спасшегося в бурю на обломке судна и вдруг увидевшего берег.

Предъявив милиционеру партийный билет, я поднялся на второй этаж.

В приемной первого секретаря оказалось много посетителей. Они расположились на стульях вдоль стен и ждали приема. Я подошел к молодой красивой женщине, которая сидела за пишущей машинкой и чистила пилкой ногти: она мне сказала, что товарищ Шубладзе придет после обеденного перерыва. Присесть было негде, и мне пришлось встать возле двери, прислонясь к стене. Как назло, разнылось бедро, я стоял с трудом.

Наконец, пришел Шубладзе, высокий, в длинном сером пальто с каракулевым воротником и серой папахе. Секретарша вспорхнула, открыла перед ним обитую черным дерматином дверь и вслед за ним исчезла за нею сама. Через минуту-другую вышла и спросила:

— Пожалуйста, кто первый?

Люди входили и выходили. Одни появлялись из-за черной двери со счастливым выражением лица, другие с удрученным. Освободилось место на стуле, и я сел, незаметно потирая бедро. Когда, наконец, дошла очередь и до меня, за окнами начало смеркаться.

Секретарша позволила мне зайти в кабинет, однако там еще находился предыдущий посетитель, полноватый пожилой человек в киргизской национальной шапке. Увидев меня, он заторопился, собрал свои бумажки на столе, попрощался и вышел.

На полу лежал большой красный ковер, на потолке сияла массивная хрустальная люстра. Шубладзе жестом указал мне на стул, только что покинутый предыдущим посетителем. На нем была черная со стоячим воротником косоворотка со множеством белых пуговиц; лицо гладкое, розовое; волнистые с проседью волосы. Я сел.

— Слушаю вас, — произнес Шубладзе хрипловатым властным голосом.

Просидев долгие часы в приемной, я сотни раз продумал все, что скажу, чтобы не произносить лишних слов. Хотел быстро и кратко объяснить цель визита. Он слушал меня, глядя куда-то поверх моей головы. Временами его отвлекали телефонные звонки, он брал трубку, и я умолкал. Я отметил про себя, что он превосходно говорит по-узбекски. Разговаривая с кем-то по телефону, кивнул мне:

— Продолжайте, продолжайте...— затем положил трубку, прикрыл ладонью рот, пряча зевоту, и сказал: — Обеспечение крымских татар работой не входит в функцию областной партийной организации. Мы не биржа труда!

— Я прошу у вас не работы, а всего лишь разрешения, права на поиски работы! — уточнил я. — Это не одно и то же. Он поморщился, о чем-то думая, и кивнул:

— Ладно. Зайдите завтра, часа в два!

Я поблагодарил и вышел. Его слова «зайдите завтра» ничего хорошего не сулили. Всем уже давно был известен прием местных бюрократов, когда они даже решение пустяковых вопросов неизменно переносят на «завтра», и так всякий раз, каждый день, пока посетителю не надоест ходить...

Стемнело. На столбах тускло светились фонари, вокруг которых запорхали, словно ночные мотыльки, снежинки. Я медленно пересек площадь и остановился на тротуаре возле пединститута. Стою и думаю, как быть? Коли сказал, все же стоит прийти. И домой возвращаться сегодня бессмысленно. Вот только где переночевать? Спросил у прохожего, где тут гостиница, и направился туда, куда тот указал. Гостиница была недалеко, и я ее легко нашел.

— Найдется ли у вас место всего на одну ночь? — спросил я у администратора.

— Пожалуйста, — ответил тот вежливо и даже заискивающе улыбнулся, скользнув взглядом по моим погонам: — Хоть на месяц. Зимой у нас всегда свободно. Вот летом другое дело...— и попросил у меня документ.

Открыв мой военный билет, он переменялся в лице и швырнул его обратно:

— Крымским татарам в нашей гостинице места нет! Я сразу даже не нашелся, что ему ответить, лишь смотрел, и, наверное, мой взгляд был красноречивее слов. Он резко поднялся и удалился, насвистывая.

Медленно брел я по побелевшей и ставшей от этого светлее улице. На тротуаре лежали желтые круги от фонарей. На мою фуражку, на плечи сыпался снег, словно сахарный песок. Неужели придется до утра ходить вот так по улицам, чтобы не замерзнуть? Я не мог пойти даже на вокзал, где в теплом зале ожидания можно отыскать место на скамейке и хотя бы сидя скоротать ночь; это можно спившимся бродягам, бездомным, кому угодно, но не мне. Там всегда, и днем, и ночью, полно патрульных, которые охотятся за нашим братом. Попадешься — или давай откупные, или шагай в комендатуру. И чем больше у этих служак задержаний, тем быстрее они поднимаются по служебной лестнице. Нет, мне никак нельзя идти на вокзал...

На плечо мне вдруг легла чья-то рука. Я вздрогнул: «Вот и попался!..» Передо мной стоял пожилой мужчина в добротном пальто, при галстукке, что виднелся под шарфом, и в черной каракулевой шапке. Стоим, смотрим друг на друга и молчим. Я узнал его. Но от волнения не мог произнести и слова. А он, видно, подумал, что я не узнаю его.

— Ибриш. Ибриш Аблямитов,— представился он с печальной улыбкой.

В 1927 году он, окончив юридический факультет Московского университета, вернулся в Симферополь и стал работать в Наркомате юстиции республики. Но спустя два года куда-то исчез. С тех пор я его не видел. И вот Ибриш Аблямитов передо мной. В Андижане. И выглядит, пожалуй, весьма респектабельно. Он взял меня под руку, и мы отошли в сторонку, чтобы поговорить, не мешая прохожим.

Оказывается, ему тогда пришлось поспешно уехать из Крыма, когда некто с большими связями затеял против него интригу. Он почувствовал, как все теснее вокруг него смыкается кольцо. Пришлось плюнуть на все и уехать. И хорошо сделал. А то неизвестно, где б сейчас был. Да и был бы вообще? Его перетянул сюда некий Ахунов, с которым учился в Москве на одном курсе...

Я слушал его и с благодарностью думал о том, что он не побоялся подойти ко мне на улице, на виду у всех, пожать мне руку, расспросить, где я живу и как. Ведь кто-нибудь из его сослуживцев мог увидеть нас, а затем на работе сказать, что он якшается с земляками,

крымскими татарами, и его могли за это уволить с работы. Однако Ибриш пренебрег этим, кажется, он и не думал об этом...

Я сказал, что только что был в гостинице, откуда меня просто-напросто выставили.

— Зачем вам гостиница? Идемте ко мне!

Он повел меня, взяв под руку и на ходу рассказывая о себе, спрашивая о наших общих знакомых. О судьбе большинства из них я, к сожалению, ничего не знал. Ибриш был осведомленнее меня. Загибая пальцы, он перечислял имена моих товарищей, не вернувшихся с войны, и у него не хватило на обеих руках пальцев. Сложили голову на фронте двенадцать наших писателей, поэтов. Это более половины всего состава крымской организации Союза писателей. А поэта Османа Амига гестаповцы расстреляли, подвергнув чудовищным пыткам у себя в застенках. Находясь на фронте, я ничего об этом не знал.

Мы оказались в центре города. Я спросил у Ибриша, нет ли поблизости почтамта. Я решил на поступок, о котором давно подумывал. Мы зашли на почту. Пока Ибриш поджидал меня у окна, я заполнил у стойки телеграфный бланк — отправил телеграмму в Москву, председателю Союза писателей СССР Александру Фадееву. До войны мы с ним встречались несколько раз, когда он бывал в Крыму, и я рассчитывал, что он еще меня помнит. Я сообщил, что нахожусь в тяжелом положении, и просил телеграфировать первому секретарю Андижанского обкома партии Шубладзе, чтобы он оказал мне содействие в устройстве на работу и получении жилья.

Потом мы направились домой к Ибришу. Жил он неподалеку от почты уже восемнадцать лет. Стал почти местным. В городе он всем известен как опытный юрист, с ним считаются. Зарабатывает неплохо...

Что зарабатывает он неплохо, я и сам убедился, когда вошли в его дом. Я даже не запомнил, сколько у него комнат, все заставлено прекрасной мебелью, стены в коврах, в серванте хрусталь, красивая яркая посуда с узбекским орнаментом. Жена его оказалась довольно молодой и приветливой. Было заметно, что она искренне рада видеть в моем лице своего земляка. Показала, где я могу помыть руки, подала свежее полотенце, усадила за стол и сначала подала, как у нас водится, к маленьких чашечках черный кофе. И пока мы с ее мужем беседовали, стала накрывать на стол. Я выпил кофе несладкий, а пару кусочков сахара незаметно опустил в карман — для Диляры.

За ужином, конечно же, вспоминали Крым, как жили до войны, как часто приходилось принимать всякого рода почетных гостей, как любили бывать у нас известные на всю страну писатели, артисты, художники, знатные люди. Мне вспомнилось, как в 1935 году Максим Горький пригласил к себе на дачу в Теселли большую группу крымскотатарских писателей; за обеденным столом весело протекала оживленная беседа. Алексей Максимович вспоминал, как в давние времена, еще задолго до революции, скитался он по Крыму в поисках счастья, и крымские татары помогали ему, принимали у себя в доме, кормили да еще и в дорогу еды давали. И, посмеиваясь в усы, поведал он о том, как однажды попал впросак, не зная тогда еще традиций, обычаев местного народа. Шел он как-то в Карасубазаре по улочке старой маалле и увидел, как пожилой татарин, сидя на летней веранде за круглой хоной¹, ест чебуреки. Наверное, по глазам парнишки старик понял, что он голоден, и сделал знак рукой, чтобы он подошел,

— Отур, аша²,— сказал старик.

И с улыбкой наблюдал, как парнишка обжигаясь, уплетает за обе щеки.

И пришло же тому парнишке как раз в тот момент на память, как однажды бородатый поп в черной рясе прогнал его из церкви, боясь, как бы он не стибрил чего-нибудь. Поев и не зная, как отблагодарить, он брякнул:

— Вам бы, отец, стать нашим попом!

¹ Хона — низкий столик, за которым едят, сидя на полу, на подстилке.

² Отур, аша — Садись, ешь.

Старик переменялся в лице, схватил палку и огрел ею Алешку поперек спины. Тот еле ноги унес.

— Я тебе «кушай, кушай», а ты мне «папаз»¹ да? — гневно ругался вслед ему старик. «Вот что значит не знать обычаев местного народа», — сказал в заключение Алексей Максимович Горький.

Ибриш засмеялся, когда я рассказал ему про этот случай, и заметил:

— К счастью, у нас и у узбеков обычаи очень похожи. Мы посидели некоторое время молча, быть может, думая об одном и том же: каких невероятных усилий будет стоить нашему народу, чтобы выжить. Потом я сказал, что только что отправил телеграмму Фадееву. Вдруг он хоть как-то сможет мне помочь...

Ибриш задумался и, покачав головой, заметил:

— Лучше бы вы этого не делали. Не говорите никому, что вы писатель...

— Почему? — удивился я.

— Коменданты издеваются над интеллигенцией особенно изощренно. Посылают на самые тяжелые работы...

Перед глазами у меня сразу возник Ягья-ага Шерфединов, небритый, в лохмотьях, в дырявых чавкающих башмаках, бредет мне навстречу, низко опустив голову.

— А недавно, я слышал, повесился Эюп Дерменджи... — продолжал тихим, дрожащим голосом Ибриш.

От этих слов будто бы мое собственное горло сдавила петля.

— Как же так?... — только и смог я выговорить; это был один из лучших поэтов, которых я знал.

И я невольно произнес вслух несколько строк из его стихотворения. Ибриш горестно кивал, вслушиваясь. Я понял, что он тоже знает эти строки.

— Комендант; любитель попариться, всякий раз брал его с собой в баню и заставлял мыть себе спину и ноги... Однажды поэт вернулся домой и повесился...

Время за разговором летело незаметно, мы просидели до полуночи. Утром встали рано. Хозяйка, однако, успела уже приготовить завтрак.

Выйдя за калитку, мы с Ибришем Аблямитовым распрощались и зашагали в разные стороны, он на службу, а я по своим делам. Желая убить как-то время, я повернул на базар. Походил там перед набитыми галантерей торговыми ларьками, между длинными стойками, за которыми армяне торговали сухим домашним вином, соленьями и мацони; узбеки продавали большей частью вяленый виноград, сухофрукты, орехи, миндаль, прессованный сушеный тутовник; перед корейцами возвышались белые кучки риса. Оказывается, и кое-кто из наших, крымских, преуспел в торговом деле, успел за год кое-как приспособиться — облачась в белые передники, они продавали горячие чебуреки. Я с удовольствием съел пару ароматных чебуреков, похвалил молодую женщину за предприимчивость. Тут же подошел муж, обеспокоенный тем, что я несколько задержался возле его супруги. Узнав во мне земляка, приветливо улыбнулся, сказал жене, чтобы она не брала с меня денег. Я почти насильно вручил им деньги. Ибо у них самих были дети. Они, как выяснилось, подкупили базаркома, милицию, ежедневно отсчитывают им их долю. Но немножко остается и себе.

Жить ведь как-то надо...

С базара я направился в обком. Около часа просидел в приемной. Сегодня тут было не так многолюдно, как вчера. Вскоре мне было позволено зайти в кабинет Шубладзе.

— Садитесь! — показал он мне на стул. — Сейчас придут наши редакторы, и мы, думаю, решим ваш вопрос. Вы, случаем, Фадееву телеграмму не давали? — уставился он на меня в упор.

— Давал, — подтвердил я. — Вчера.

¹ Папаз — поп, у крымских татар, исповедующих ислам, считается ругательством.

Шубладзе выдвинул ящик письменного стола, вынул из него телеграмму и положил передо мной:

— Вот его ответ.

Адресована была телеграмма Шубладзе. В глаза мне сразу бросились подписи Александра Фадеева и Петра Скосырева. «...Просим оказать содействие писателю Шамилю Алядину в устройстве его на подходящую работу и обеспечении жильем...»

Я долго сидел и молчал. То, что руководство Союза писателей не осталось безучастным к моей телеграмме, тронуло меня необычайно. Шубладзе тем временем разговаривал по телефону.

В кабинет вошли двое, как видно, приглашенные заранее, узбек и русский, примерно одного возраста, лет сорока. Поздоровались со мной, сели. Один долговяз, сухощав, седые виски подчеркивают смуглость лица, другой пониже ростом, полноват, лицо добродушное, толстые стекла очков сильно увеличивают серые глаза; светлые, заметно поредевшие волосы зачесаны за уши, на макушке поблескивает лысина.

Секретарь, закончив разговор и положив трубку, представил нас друг другу. Первый оказался Гаибовым, редактором областной узбекской газеты «Коммунист», а второй Сигаловым, редактором областной русской газеты «Сталинское знамя».

Шубладзе объяснил, для чего пригласил их, и попросил подумать, есть ли у них подходящая для меня работа.

— Имеется ходатайство Фадеева, — добавил он, придвинув к ним телеграмму. У того и у другого дело для меня нашлось. Шубладзе спросил, в какой из этих двух газет я бы предпочел работать. Подумав, я ответил:

— Я считаю для себя честью работу в любой газете. Но, чтобы работать в «Коммунисте», надо владеть узбекским литературным языком, а я лишь кое-как умею изъясняться. Если не возражаете, я пойду работать в русскую газету...

Таким образом, я начал с этого же дня работать заведующим Отделом сельского хозяйства газеты «Сталинское знамя».

Решить же вопрос с жильем оказалось куда труднее. К счастью, согласился на время приютить меня в своем доме Ибриш Аблямитов. По утрам я слышал звон будильника в его спальне и тотчас поднимался. Мы вместе делали зарядку, наскоро завтракали и разбегались — каждый к себе на работу.

Я присутствовал на совещаниях актива по сельскому хозяйству, писал отчеты, готовил информацию. Опубликовал несколько очерков о передовиках. Ни один из моих коллег ни взглядом, ни намеком ни разу не дал мне почувствовать, что я человек «другого сорта». Однако трудности возникали у меня тотчас же, как только редактор посылал меня в командировку — в колхозы, совхозы, находящиеся в различных районах области: ведь я не имел права выезжать за пределы города. Чтобы получить разрешение, я всякий раз, получив командировочное удостоверение и деньги, отправлялся с заявлением на имя коменданта в комендатуру. А там всегда полно народу: кому-то надо навестить в соседнем районе мать, кому детей, кому на похороны, кому на свадьбу. Становлюсь в очередь. Если, конечно, власть на месте. Но нередко комендант отсутствует, кабинет заперт, и никто не знает, где он и когда будет...

В тех местах, где мне доводилось бывать, разное отношение к себе встречал я со стороны местного начальства. Одни высказывали сочувствие, признавались, что не понимают того, что произошло с нашим народом, старались подбодрить добрым словом, но доводилось наткнуться и на откровенное презрение, неприязнь, когда с тобой не желали и разговаривать...

По возвращении из командировки я в тот же день обязан был явиться в комендатуру и засвидетельствовать, что вернулся в срок, никуда не сбежал.

Нелепость ситуации заключалась еще и в том, что теперь без разрешения коменданта я не мог попасть в Чинабад, неподалеку от которого жили в кишлаке жена и дочь. Пока у меня нет жилья, не мог я их к себе перевезти...

Однажды, когда я в редакции корпел за письменным столом, ко мне подсел Яков Аронович, наш сотрудник, уже пожилой седой журналист с многолетним стажем. Он эвакуировался сюда в самом начале войны из Минска. Все его родственники, оставшиеся в оккупации, погибли. Мне было известно, что он собирался ехать домой, в Минск. Несколько дней уже минуло, как он получил полный расчет, но почему-то медлил с отъездом. Ходит, говорят, по каким-то инстанциям, время от времени появляется в редакции, заходит иногда ко мне, спрашивает, как работаете, не трудно ли, здоровы ли жена, дочь. Сотрудники порой подшучивали над ним: «Стоило ли увольняться, Яков Аронович? Все равно на работу приходите!» «Вот решу один вопрос, тогда и уеду!» — отвечал старик и при этом почему-то загадочно поглядывал на меня. А что это за важный такой вопрос, никому не говорил.

Вот и сейчас сел напротив, облокотясь одной рукой о мой стол.

— Как живется-может, капитан?

— Лучше, чем многим моим землякам, Яков Аронович.

— Когда семью собираетесь перевозить?

— Рад бы, но увы... — грустно улыбнулся я. — Самого приютили хорошие люди.

— Паспорт у вас с собой?

— С собой, — проговорил я, с недоумением уставясь на него, и заметил, что его испещренное морщинами лицо словно бы озарилось радостью: он, видимо, опасался, что у меня, как у всех, паспорт отобрали, а взамен выдали «удостоверение спецвыселенца».

— В таком случае давайте! — протянул он ладонь.

— Паспорт-то я дам, а дальше что?

— Дальше все будет хорошо, — сказал он.

Взяв мой паспорт, он указательным пальцем поправил очки и стал его тщательно изучать. Каких только отметок, знаков, цифр не было на его потрепанных страничках! Не всякий мог в них разобраться, понять. Мне же казалось, что он такой, как у всех, ничем не отличается. Но мне это только так казалось, а Яков Аронович в тех отметках получше меня разбирался. Вздохнув, он опустил паспорт себе в нагрудный карман и еще более озадачил меня, сказав:

— Ладно, по таким тоже прописывают... — И, поднимаясь с места, добавил с загадочной улыбкой. — У вас имеется шанс ночевать сегодня в собственной коммунальной комнате в тридцать квадратных метров плюс общий коридор... — И быстро вышел, худощавый, слегка сутулый, легкий в движениях.

Я невольно поднялся с места и последовал за ним. Пройдя в конец коридора, он исчез в кабинете редактора.

Я вернулся на место и придвинул к себе бумагу. Но, охваченный волнением, уже не мог работать. Расстраиваться же мне было от чего... Он мне намекнул на возможность занять комнату, а о деньгах почему-то не обмолвился. Из приличия, наверное. Всякий, если не дурак, должен и сам понимать, что оплата за это само собой разумеется. И немалая. Время сейчас такое. На базаре буханка хлеба стоит четыреста рублей. Во сколько же может обойтись комната в тридцать квадратных метров? Нет, скорее всего мне это будет не по карману. Я вскочил и торопливо зашагал в кабинет редактора. Тот оказался один, вопросительно посмотрел на меня.

— Извините, я думал, Яков Аронович у вас...

— Только что ушел.

Я вернулся в кабинет, размышляя о том, в каком дурацком положении очутился. Попробовал все-таки собраться с мыслями и сосредоточиться, чтобы подготовить материал в ближайший номер. Но любые шаги в коридоре, которых я прежде не замечал, заставляли сердце мое то замирать, то усиленно биться. Сейчас придет Яков Аронович — что я ему скажу?..

И он пришел. За окнами уже темнело. Старик запыхался, чувствуете, торопился. Пальто, шапка припорошены снегом.

— Фу, думал, не застану вас! — сказал он, опускаясь на стул, глаза его за стеклами очков блестели. — Вот ваш паспорт. Вот ордер на комнату. А это ключ! — подкинув на ладони, он положил передо мной ключ с голубенькой веревочкой.

Не увидев на моем лице особой радости, старик, похоже, растерялся. Посидел еще немного молча, затем поднялся, хлопнул меня по плечу:

— Желаю счастливой жизни на новом месте. Мой вам совет: никогда не отчаивайтесь. Барахтайтесь, пока не выплывете. И все будет хорошо! — он подмигнул мне и, слегка сутулясь, направился к выходу.

Я вскочил и у самой двери схватил его за локоть:

— Куда же вы? Мы же еще ни о чем не договорились...

— О чем?.. — посмотрел он на меня, часто моргая.

— Ну... наверно, вам пришлось для этого потрудиться... — замялся я и, посмотрев ему в глаза, сказал напрямик: — Кого-то пришлось отблагодарить, кого-то умаслить... не могу же я просто так... принять такой подарок...

Он усмехнулся, глаза его озорно блеснули. Он снял очки и стал протирать их платком.

— Грош цена мне была бы, если бы я не смог убедить кого надо. Я же все-таки журналист. И обошлось без всяких умасливания. И теперь со спокойным сердцем я могу уехать. Поезд мой отходит сегодня ночью.

— Яков Аронович, позвольте обнять вас, — сказал я дрожащим голосом. — Огромное спасибо. Вот уж поистине мир не без добрых людей. Даже не знаю, чем бы я мог отблагодарить вас... Вы просто спасли меня...

— Если хотите, проводите меня на поезд. Вещей у меня, правда, не ахти сколько, пара чемоданов, и все же...

Мы вместе приехали в квартиру, где Яков Аронович прожил более пяти лет. В комнате его стояла железная кровать с металлической сеткой, на ней лежал свернутый полосатый матрац. У окна — грубо сколоченный дощатый стол со скрещенными ножками и табуретка.

— Это богатство я оставляю вам, — сказал он. — Пользуйтесь, вспоминайте старого Якова Ароновича. Если будет угодно господу, еще увидимся...

Возле двери стояли два деревянных крашенных чемодана с металлическими уголками. Я взял тот, что побольше, он другой, и мы отправились на вокзал. Чтобы туда добраться, и днем-то не просто было найти транспорт, а ночью не стоило на это и рассчитывать. Мы пошли пешком. Легкий морозец бодрил. Землю присыпал свежий белый снег, и ночь от этого казалась светлее...

На второй день, не откладывая, я заполучил разрешение коменданта и поехал в Чинабад. Довольно быстро добрался на попутке. От райцентра заспешил в кишлак, не шел, а летел. Радость, оказывается, на самом деле обладает свойством окрылять. Теперь я мог перевести семью в Андижан! Даже не верилось. Едва я открыл дверь, Фатма кинулась мне навстречу:

— Мама нашлась!

Я подхватил на руки подбежавшую дочку, насыпал ей в ладошку разноцветных монпансье.

Выяснилось, мать Фатмы год назад высадили из эшелона в Коканде. А сейчас она больна, у нее тиф. К кому-то приезжал из Коканда родственник, от него и узнала Фатма о матери...

Прибежала к ней знакомая женщина, потащила к себе, твердя возбужденно по дороге, что приехавший родственник рассказывает о какой-то старушке, которая, по всему, не кто иная, как мать Фатмы. Так оно и оказалось. Фатма едва дождалась моего приезда, чтобы поделиться радостью. Что же нам делать?

— Что делать? Срочно ехать, — сказал я. — А потом постараемся забрать к себе и мать.

На этой же неделе мне удалось добиться в редакции командировки и поехать в Коканд. По записанному на клочке бумаги адресу я отыскал дом, где проживала теща. Не дом, а длинный барак, отличающийся от коровника лишь тем, что поделен на маленькие комнатки, двери которых открывались в общий коридор. Каморка, которую занимала старушка, оказалась пуста. На двери нет никакого запора. Возле порога на земляном полу проросла блеклая трава. У стены железная кровать без спинки, на ней лежит кусок старого войлока. В углу свалено грудой какое-то старье, погнутые трубы от железной печки, рваные калоши, стоптанные башмаки, скомканная телогрейка и еще какое-то тряпье.

Соседи сказали, что сразу же, как только старушку увезли в больницу, приезжала дезинфекционная машина; люди в желтых клеенчатых передниках обрызгали комнату какой-то вонючей жидкостью, от которой у соседей целую неделю захватывало потом дух и щипало глаза...

Я почти весь день потратил на то, что ходил из больницы в больницу в поисках тещи. Наконец, нашел ее совсем на другой окраине города, в небольшом бараке. Я бы, наверняка, прошел мимо него, не обратив внимания, если бы не увидел старуху в белом халате, которая, выйдя из дверей, выплеснула из таза грязную воду на пыльную дорогу. Я спросил у нее, не знает ли она, где тут инфекционная больница. Она кивнула на барак, за ним виднелись еще два таких же. А не знает ли она такую-то? Оказывается, мать моей Фатмы находилась именно здесь.

Я с трудом узнал свою тещу, похудевшую настолько, что одному богу было известно, в чем ее душа держалась. Наголо остриженная голова ее, повязанная косынкой, недвижно лежала на жесткой подушке.

Медсестра, опередив меня, зашла в палату и предупредила ее:

— Тетушка, зять ваш пришел!

Они устремила на меня глубоко запавшие мокрые глаза, слегка приподняла руки и уронила их на постель. У нее не было сил пошевелинуться.

Я сел на краешек постели, взял в ладони ее сухонькую горячую руку.

— Здравствуйте, матушка, — сказал.

Она ответила глазами, по ее скулам, обтянутым сморщенной пергаментной кожей, потекли слезы.

— Она у нас молодец, — веселым голосом сказала пожилая медсестра, оставшаяся стоять у меня за спиной. — Другая бы давно окочурилась, а у нее сердце здоровое, организм крепкий...

Я вынул из кошелки банку сметаны, пиалушку с медом, лепешку и, разогнав свернутой газетой мух, положил все это на тумбочку.

Я попросил медсестру присмотреть за старушкой, подкармливать ее, пока не приедет сюда Фатма, и сунул в карман ей несколько рублей.

Больше задерживаться мне было нельзя. Завтра мой главный документ уже будет недействительным.

Я перевез семью в Андижан. А месяц спустя, когда теща окрепла настолько, что уже могла ходить, мы взяли к себе и ее. Так вчетвером и прожили в течение многих лет в комнате, оставленной нам Яковом Ароновичем, вспоминая его всякий раз добрым словом.

Умер Сталин. Были расстреляны Берия и Кобулов, лично надзиравшие за выселением целых народов. Состоялся XX съезд Коммунистической партии Советского Союза, на котором подверглись осуждению идеология и практика сталинизма.

Но еще живы были те, кто в свое время подписывал постановление Государственного Комитета Обороны от 11 мая 1944 года, которым, по существу, крымскотатарскому народу как этносу был вынесен смертный приговор. Входили в ГКО те, кому не привыкать было изобретать подобные приговоры. Они и теперь оказывали сильное давление на Н. С. Хрущева, который не всегда был в силах им противиться. Наверное, в немалой степени этим можно объяснить то, что даже после знаменитого XX съезда в судьбе крымских татар почти ничего не изменилось.

В начале мая 1956 года крымским татарам были разосланы повестки. Они строго-настрого предупреждались, что в такой-то день и в такой-то час должны явиться в комендатуру.

Из уст в уста передавались разные слухи. «Будут всем возвращать паспорта», — говорили одни. «Домой скоро поедет, домой!» — радовались другие. «Дай бог здоровья Хрущеву, он восстановит справедливость!» — заверяли третьи. Народ верил в торжество добра.

Мы с утра отправились в комендатуру: я, Фатма, ее мать и наша маленькая Диляра. День был погожий. На ребенка мы надели ее лучшее платьице. Настроение у нас было праздничное.

Вся улица перед комендатурой была запружена нашими земляками. Наверное, их было несколько тысяч. Лица у всех хмурые, суровые. Вновь прибывающие расспрашивали тех, кто стоял тут уже давно, зачем их собрали. Никто ничего толком не знал. Вот запустили первых тридцать-сорок человек. Через несколько минут все они один за другим вышли.

— Ну, что там? Зачем звали? К добру ли? — забрасывали их вопросами.

— Сейчас сами узнаете, — хмуро отвечали те и спешили прочь. Постепенно все ближе, ближе придвигались к двери комендатуры и мы. Наконец, настал наш черед в нее войти. В кабинете коменданта было битком набито, люди стояли, тесно прижавшись друг к другу. Мне пришлось взять дочку на руки, чтобы ее не раздавили.

Рядом с комендантом сидели двое незнакомых мне лиц в гражданском. Местных я уже почти всех знал. Эти, наверное, приехали из Ташкента. Комендант взял в руки листок бумаги и встал с места. Прокашляв горло, стал торжественно читать. Прodelывал он это уже в который раз и даже осип:

— Указ Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 года... Далее говорилось о том, что с крымских татар, балкарцев, турок — граждан СССР, курдов, хемшидов и членов их семей, высланных в период Великой Отечественной войны, сняты ограничения по спецпереселению, мы освобождаемся из-под административного надзора и теперь не будем обязаны ежемесячно ходить в комендатуру «на подпись».

Комендант сделал паузу и оглядел всех, будто ожидая аплодисментов. Затем высоко поднял указательный палец и прочел, резко повысив голос, с расстановкой, дабы каждое его слово запало нам в память:

— Пункт второй. «Установить, что снятие ограничения с указанных лиц и членов их семей не влечет за собой возвращения их имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда были высланы!» — Комендант облегченно вздохнул и, еще раз оглядев нас, спросил: — Все понятно?

— Куда как понятнее, — подал кто-то вяло голос.

— В таком случае подходите и расписывайтесь!

Каждому, кто приближался к столу, он придвигал для подписи небольшой листок, на котором типографским способом было отпечатано: «Я (фамилия, имя, отчество), уведомлен, что возвращаться в Крым не имею права, а от конфискованного у меня при выселении имущества добровольно отказываюсь. Подпись».

Стоявшие у двери двое солдат внимательно следили за тем, чтобы никто не проскользнул мимо них, не расписавшись.

Держа на руках дочку, я наклонился, чтобы вывести свою фамилию.

— Может, заодно и ей дать подписаться? — спросил, посмеиваясь, комендант и кивнул на ребенка.

— Мала еще, — сказал я.

— Все маленькие в конце концов становятся большими.

— Пока она станет большой, уверен, в нашей жизни многое переменится.

— Напрасно надеетесь! — отвечивал он.

Надежды у нас и в самом деле оставалось все меньше и меньше. Но древняя поговорка гласит: «Под лежачий камень вода не течет». Надо было что-то делать...

Однажды, когда я находился в редакции, позвонили из обкома партии. Меня срочно вызывал к себе заведующий отделом пропаганды. Здание обкома было рядом, через улицу, я поспешил туда.

Хозяин кабинета предложил мне сесть.

— Письмо товарищу Хрущеву писали? — спросил он.

— Писал, — кивнул я.

— Вам что же... действительно так не нравится у нас... в нашем городе?

— При чем тут... ваш город? Я писал совсем не об этом. Я сообщал о нашем сегодняшнем положении, которое никак не соответствует новой линии партии, которую она проводит в международных отношениях. Коль уж мы критикуем то, что страной унаследовано от Сталина, реабилитируем отдельных несправедливо осужденных людей, то никак нельзя оставлять в местах ссылки целые репрессированные народы...

— Вы убеждены в этом? — уставился он на меня исподлобья.

— Да.

— Я бы вам не советовал еще где-либо вести подобные разговоры. Если, конечно, не хотите неприятностей лично для себя и семьи...

— Правда и сейчас наказуема?

— Видите ли... — усмехнулся он. — То, что является «правдой» с вашей точки зрения, не является таковой для других...

— Белое для всех — белое, а черное — черное!

— Не будем спорить. Это бессмысленно. Я вызвал вас по другому поводу... Если вам не нравится наш Андижан, то можете... — он заперевирал у себя на столе бумаги, что-то среди них разыскивая.

— В Черную Лялю, хотите сказать? — усмехнулся я.

— Почему? — опешил он. — В Ташкент! В столицу. Получено такое разрешение.

— Я просил разрешения не в Ташкент переехать, а в Крым, в Симферополь, откуда я ушел на войну... Он замахал рукой с кислой миной на лице:

— Забудьте об этом, забудьте! Поезжайте в Ташкент. Многие из нас могут только мечтать о том, чтобы жить там. Поезжайте, там вам действительно будет лучше, чем здесь.

— Допустим, перееду. Где буду работать, жить?

— Обратитесь в Союз писателей Узбекистана.

— Крымскотатарские писатели исключены из Союза...

— Обратитесь. Там в курсе дела.

Мы дома посоветовались и решили принять предложение. Поезд прибыл в Ташкент утром. Впервые за все послевоенные годы я ехал в пассажирском вагоне. Но стоило увидеть идущих через вагон офицера или солдат, сердце, как и прежде, куда-то проваливалось. Наверное, не один год минет, пока мы привыкнем к тому, что можем, наконец, ездить куда хотим без разрешения спецкоменданта. Куда хотим? Кроме Крыма, конечно!

Прямо с вокзала я отправился в Союз писателей, оставив Фатму и ребенка в зале ожидания. Меня принял Айбек. Он тогда был председателем Союза.

— Хорошо сделали, что приехали, — сказал он, пожимая мне руку. — Имеется договоренность с Управлением искусств при Совете министров Узбекистана, будете работать директором ТЮЗа. Не возражаете? Вот и хорошо. Где семья?

— На вокзале.

Айбек мягко упрекнул меня за то, что я ни разу не обратился в Союз писателей, они-де оказали бы мне какую-никакую материальную помощь. Стал расспрашивать, как мне до сих пор жилось.

— Нормально, Айбек-ака. Нормально, — говорил я, а сам сидел, как на иголках, думая про Фатму, Диляру и тещу, оставленных на вокзале с чемоданами и узлами. Да и поскорее

радостью поделиться с ними не терпелось. Буду директором ТЮЗа! Шутка ли? Выходит, и нам постепенно начинают оказывать доверие! Может, все-таки начнет что-то меняться?

Айбек пригласил завхоза, велел ему вручить мне ключ, а затем на машине отвезти и показать комнату, где я буду жить...

В ТЮЗе я проработал три года. Очень старался. С коллективом у меня установились самые добрые отношения...

Однажды ко мне в театр пришли несколько молодых людей, поздоровались по-крымскотатарски. Это были статные, красивые йигиты. Я очень обрадовался их визиту, хотя еще не знал, что их ко мне привело. Предложил рассаживаться. Они разместились, кто на диване, кто в креслах. Представились. Это были студенты, молодые рабочие с ташкентского инструментального завода. Мы разговорились. И конечно же, там, где собирались вместе трое-четверо крымских татар, разговор непременно переходил в конце концов к тому, как их выселяли, кто в семье умер, а кто еще жив и ждет не дожидается возвращения на Родину.

На краткий миг возникла пауза, йигиты переглянулись, и один из них сказал:

— Шамиль-ага! Если бы наш народ смирился с тем, что с ним произошло, то он был бы достоин такой участи. Но с первого дня выселения народ не перестает посылать в Москву протесты. Это и личные письма, и коллективные...

— Я тоже писал, — грустно кивнул я, вспомнив, что ничего хорошего из этого не вышло, если не считать переезда в Ташкент.

— Раньше тех, кто подписывал такие письма, просто забирали из дому, и мы до сих пор не знаем, где они находятся. Но теперь, по крайней мере, так не делают. Наше национальное движение ширится, набирает силу. Наиболее активны бывшие фронтовики, партизаны. Но, к сожалению, этого не скажешь о нашей интеллигенции...

— Эх, где она, наша интеллигенция? — с горечью спросил я. — Разбросали, рассеяли ее по всей огромной стране, мы не имеем никаких сведений друг о друге, даже не знаем, кто жив, а кого уже нет...

— Вы правы. И сделано это было не без умысла, — сказал йигит, он, видимо, был среди присутствующих старшим. — Но нам многое известно о тех, кто представлял нашу интеллигенцию. Мы постараемся связать вас кое с кем. А сейчас, если сталинскую акцию против нашего народа считаете антигуманной, противоправной, пожалуйста, подпишите вот это, — и он, встав, подошел к столу, положил передо мной отпечатанное на машинке письмо.

Это было обращение в ЦК КПСС и Верховный Совет СССР. Я внимательно прочел его. В нем говорилось о бедах крымскотатарского народа, о том, что он хочет вернуться на родину и ожидает справедливого решения своего национального вопроса. С каждой строкой, с каждым словом я был согласен. Обмакнул перо в чернила и подписал.

Йигиты поблагодарили меня, мы обменялись рукопожатиями, и они удалились.

А спустя недели две, уже в конце дня, в театре вдруг появился Борис Гаипов, секретарь по кадрам ЦК ЛКСМ Узбекистана. Не подавая руки, сухо поздоровался со мной и велел собрать коллектив в зрительном зале.

— Зачем? — поинтересовался я.

— Там узнаете! — сказал он, подошел к моему столу и начал на нем по-хозяйски перебирать бумаги, будто что-то искал.

Я с минуту недоуменно следил за его действиями, порываясь сделать ему замечание и испытывая при этом неловкость. Потом — повернулся и вышел.

Коллектив у нас был молодой, и работу его постоянно контролировал на правах шефа ЦК комсомола республики. Борис Гаипов, почти вдвое моложе меня, считался моим начальником. Поэтому я, не вдаваясь более в подробности, прошелся по помещениям театра, заглядывая в комнаты, где шли репетиции, и повторяя: «Пожалуйста, в зрительный зал! Срочно!»

Когда все собрались, низкорослый Гаипов, молодой, но уже успевший отрастить брюшко, с величественным видом поднялся на сцену и объявил:

— Ваш директор Алядинов оказался на этой должности по недоразумению! С сегодняшнего дня он от этой работы отстраняется! — И, махнув мне, ошеломленному, рукой: мол, выметайся отсюда! — крикнул зашумевшим сотрудникам: — Вы свободны!

Стоило ли из-за этого собирать людей? Или некоторые таким образом упиваются властью?

Я встал. Ноги сделались ватными. Я медленно вышел из зала. Долго брел по улице. На площади Хадра сел в трамвай и поехал домой. В голове был сумбур, глаза застилал туман, я смотрел в окно и не узнавал улиц, по которым еду. Оказывается, я давно проехал свою остановку и нахожусь на окраине города. Поспешно вышел, пересел во встречный трамвай, а он, где-то свернув, повез меня совсем в другую сторону...

Словом, домой я попал в первом часу ночи.

Обычно я приходил не позднее восьми. Дочка всегда встречала меня у двери радостным возгласом: «Папа пришел!» Но сегодня, не дождавшись, уснула. Фатма, обеспокоенная моим долгим отсутствием, не знала, что и подумать. Неподалеку от нашего дома была будка с телефоном-автоматом. Фатма сбегала и позвонила мне на работу. Грубый мужской голос ответил: «Он у нас больше не работает!» Естественно, ей подумалось о самом страшном: вдруг арестовали или по дороге напали бандиты... Если бы не боялась оставить спящего ребенка одного, бросилась бы искать меня по городу. Но куда бежать? Кого расспрашивать?

И когда я, наконец, открыл дверь, она бросилась ко мне и разрыдалась.

— Знаешь, у нас опять неприятности, — начал было я.

— Я уже все знаю, — сказала Фатма. — Ты, наверное, голоден, садись, поешь, потом поговорим...

Я все же не выдержал и сразу же рассказал ей обо всем. А за ужином продолжал возмущаться:

— Как же мы бесправны в своей собственной стране! С человеком могут сотворить все, что угодно, и совершенно безнаказанно!

— Тише! Тише! — умоляла меня испуганная Фатма, прикрывая ладонью мне рот. — Соседи услышат... Ведь у стен есть уши...

— А разве я говорю неправду?! — все никак не мог я успокоиться.

— О нас подумай. Что будет со мной, дочерью, если с тобой что-нибудь случится...

Ночью у меня случился сердечный приступ. Впервые в жизни. Фатма вызвала «скорую». И я попал в больницу.

В палате нас было восемь человек. Рядом со мной лежал пожилой учитель, поволжский татарин. Мы разговорились. Недаром сказано: у кого что болит, тот о том и говорит. Я поведал ему о своих неприятностях на работе, о Гаипове, который, конечно, не мог не исполнить порученной ему миссии, но ведь то же самое можно было сделать как-то иначе, человечнее, что ли, не унижая моего достоинства. Или именно последнее обстоятельство доставило ему ни с чем не сравнимую радость? А еще комсомольский лидер... Куда же такие, как он, заведут нашу молодежь?

— Да-а... — вздохнул старый учитель. — Я знаю его. Он татарин. Правда, казанский. Но тем не менее, казалось бы, лучше других должен понимать вас, ан нет. Служебное положение для него важнее всего! Ведь что получается? У нас, как и у всех, при поступлении на работу спрашивают: «Национальность?» «Татарин», — отвечаем. У начальника вытягивается лицо: «Крым продал?!» И каждый раз мы вынуждены объяснять, что мы другие татары... Гаипов этот — чиновник, что с него возьмешь? Для него главное — выслуживаться и доказать, что он другой татарин. А как это сделать? Только так, как он это сделал в случае с вами...

Выписали меня из больницы довольно скоро. На следующий день после того, как я вернулся домой, ближе к полудню кто-то постучал в окно. Я был один — Фатма с

Дилярой ушли в магазин. Открыв дверь, я увидел перед собой завхоза Союза писателей, он расспросил меня о самочувствии и вручил записку. Зайти отказался, сославшись, что его за углом ждет машина, попрощался и ушел. Я развернул записку. «Прошу Вас зайти ко мне. Айбек».

На второй день я был у Айбека. Он сказал, что знает обо всем, что со мной произошло, и посоветовал не отчаиваться, ибо работа для меня найдется.

— У нас говорят: лучший бальзам для сердца — это хорошее известие, — сказал он. — Попробую вас обрадовать. Ходят разговоры, что в Ташкенте будет издаваться газета на крымскотатарском языке, а также организуется редакция на радио...

— В Ташкенте? — удивился я. — В Крыму у нас выходило множество разных газет, печатались журналы...

Айбек улыбнулся:

— Когда вернетесь в Крым, вы все это возродите. А пока и эта газета — подарок, она, по крайней мере, уже сегодня поможет вам сохранить язык. Ведь язык — это лицо народа. Нет языка, нет и народа, верно?

— Вы правы, Айбек-ака. Когда же начнет выходить газета?

— Думаю, скоро. А пока поработаете у нас в Союзе, хорошо? Он вызвал сотрудника отдела кадров и попросил подобрать для меня какую-нибудь работу. Тот кивнул и сделал мне знак, чтобы я последовал за ним.

— Не возражаете, если я предложу вам заниматься хозяйственными делами? — спросил он, когда мы вошли в его кабинет.

— Согласен на все, — сказал я.

И был назначен помощником завхоза.

Все предыдущие годы и теперь я вынашивал мысль описать все то, что произошло со мной и моим народом. Я отдавал себе отчет, что это чревато для меня непредсказуемыми последствиями. Намеревался я восстановить и ту историческую пьесу «Ненкеджан-ханум», которую написал еще до войны. К сожалению, не только сама пьеса, но и материал, который я в течение продолжительного времени собирал в архивах, были безвозвратно утеряны, в памяти же у меня сохранилось немного. Я мечтал о том времени, когда мне, наконец, удастся поехать в Крым и заглянуть в хранилища библиотеки Бахчисарайского ханского дворца. Если, конечно, там не предано все костру, как это происходило в других местах Крыма после выселения татар.

И вот — о счастье! — мне удалось получить в Союзе писателей две путевки, для себя и жены, в Дом творчества в Коктебеле. Я заручился письмом председателя Союза писателей Узбекистана, в котором выражалась просьба оказать мне, члену Союза писателей СССР с большим стажем, содействие в ознакомлении с некоторыми архивными материалами по истории Крыма в музее Бахчисарайского ханского дворца...

Мы взяли с собой и Диляру. Очень хотелось показать ребенку ее родину...

В Коктебеле мы провели двенадцать прекрасных дней. Время пролетело, как одно мгновенье. Ранним утром мы выехали в Симферополь.

Оставив жену с дочкой в сквере, где мы с Фатмой когда-то любили прогуливаться, я поспешил в Крымский обком партии. Меня принял секретарь по пропаганде Чирва. Я сказал ему, с чем пожаловал, и показал письмо председателя правления Союза писателей Узбекистана. Чирва явно куда-то спешил» было заметно, что он нервничает из-за того, что пришлось задержаться. Прочитав письмо, он извинился, что ему, к сожалению, некогда — должен сопровождать находящегося в Симферополе Подгорного в поездке по Крыму; а мне с этим вопросом лучше обратиться к заведующему отделом науки товарищу Моргайло.

И я направился в кабинет, который он мне назвал.

Моргайло, выслушав меня и ознакомившись с предъявленным письмом, принялся звонить секретарю Бахчисарайского райкома партии. Долго набирал номер, однако

тщетно, связаться с кем-либо ему не удавалось. Я стоял рядом и ждал. Потеряв терпение, Моргаило швырнул трубку и сказал:

— Чтобы не терять зря времени, поезжайте в Бахчисарай, а я тем временем успею переговорить с райкомом.

Я согласился. Поблагодарил Моргаило и, окрыленный надеждой, вернулся в сквер к своим. Еще издали я увидел возле них группу людей. Они обступили, стали расспрашивать, как живется нам в чужих краях, вспоминали старые добрые времена; когда жили рядом и часто не знали даже, кто какой национальности, выражали надежду на скорое наше возвращение.

Увидев меня, Фатма встала, иначе мне было не пробраться к ней. Я рассказал ей о результатах посещения обкома партии и предложил срочно выехать в Бахчисарай. Нам объяснили, как пройти на междугородную станцию, а две пожилые женщины даже вызвались проводить.

...В музее ханского дворца я встретил старую знакомую; Марию Георгиевну Кустову. Мы очень обрадовались встрече. Мария Георгиевна работала в этом музее еще до войны, изучала крымскотатарское народное творчество, превосходно знала наш язык. Теперь она стала директором. Я рассказал, с какой целью приехал. Мария Георгиевна, горестно вздохнув, сообщила, что сохранилось, увы, немного: во дворе этого дворца тоже в течение нескольких дней полыхали костры... Пока я, подавленный услышанным, молчал, она спросила, не смогу ли я им кое в чем помочь?

Оказывается, как раз в те дни в окрестностях города производились археологические раскопки. В старых могилах татарских воинов ученые находили медальоны — не такие, какие мы в Отечественную войну носили в нагрудных карманах, а сделанные из серебра, плоские, в форме полумесяца, червлёные. Воины вешали их на серебряной цепочке себе на шею. В них обычно лежали два маленьких листика бумаги: один с биографическими данными воина, другой с молитвой — обращением к Аллаху с просьбой уберечь от смерти. Письмо было выполнено арабскими буквами, и ученые из экспедиции не могли их прочесть. На столе у Марии Георгиевны лежала целая груда таких листиков, пожелтевших, рассыпающихся от прикосновения, словно пепел.

— Не смогли бы вы нам помочь перевести, что в них написано?— спросила Мария Георгиевна.

Я согласился. Но, чтобы выполнить эту работу, понадобилось бы не менее двух-трех дней. Я, не откладывая, засел за работу с медальонами. А директор тем временем, оставив меня одного, отправилась с Фатмой и Дилярой в гостиницу, расположенную неподалеку отсюда, и устроила нас там на необходимый срок.

Вынимать листики из серебряных медальонов приходилось очень осторожно. Буквы на них были едва приметны. До самого вечера занимался я ими, переводил на русский язык, аккуратно записывал. От усталости уже начало рябить в глазах. Мария Георгиевна и руководители археологической экспедиции сердечно поблагодарили меня.

Два последующих дня я занимался тем же. К счастью, мне удалось разыскать в музее кое-что из старых книг, о наличии которых я помнил с довоенных времен, и найти в них то, что меня интересовало.

На третий день с утра в музей явился сотрудник МГБ. Он зашел в кабинет директора, где в это время как раз находился и я, и грубо поинтересовался у Марии Георгиевны:

— На каком основании вы разрешаете этому типу тут работать?

— Позвольте... — растерялась Мария Георгиевна. У нее соскользнули с носа очки.

Водрузив их на место, она в упор взглянула на нежданного посетителя: — Человек этот — не тип, а писатель. Он интересуется историей. И знаю я его очень давно. В отличие от вас, молодой человек!

— А я запрещаю ему заходить в библиотеку! — резко сказал он и, обернувшись ко мне, процедил сквозь зубы: — Убирайтесь-ка из Бахчисарая подобру-поздорову или...

Он не договорил, но в глазах у него была такая ненависть, какую мне редко доводилось видеть. Мария Георгиевна побледнела, руки ее дрожали, а лицо приняло растерянно-беспомощное выражение. Я поспешил ее успокоить:

— Не надо волноваться, мне не привыкать к подобного рода выходкам...

— Вы же еще не закончили своей работы, — развела она руками.

— Я попробую что-нибудь предпринять...

Но, откровенно говоря, выходя из музея, я, еще не знал, что мне делать. Направился в райуправление КГБ, надеясь, что удастся объяснить начальнику, сколь важно для меня дело, ради которого я, собственно, и приехал. Может, поймет и разрешит закончить работу? Начальника на работе не оказалось. Зато был заместитель.

— Зачем вам начальник? — усмехнулся он. — Это его распоряжение, чтобы вам запретили пользоваться библиотекой музея!

— По соображениям государственной безопасности? — спросил я, желая дать понять, что не своим делом они занимаются.

— Да, именно по этим соображениям, — ответил он, пронизывая меня взглядом.

— Перед тем как сюда приехать, я был на приеме у секретаря обкома партии Чирвы и у заведующего отделом науки Моргайло. Они мне сказали: «Пожалуйста, работайте!»

— За безопасность советских граждан отвечаем мы. Обком для нас не указ. Мы подчиняемся только начальнику управления МГБ Крыма.

«А я, значит, не советский гражданин!» — с горечью подумал я. Поняв, что дальнейший разговор бесполезен, я вышел из управления, остановил грузовую машину и, взобравшись в кузов, поехал в Симферополь.

Облуправление КГБ находилось в том же старинном здании, что и до войны, и отыскать его не составило труда. Было еще только начало четвертого. Но никого из ответственных лиц я тут уже не застал. Из приоткрытой двери одного из кабинетов доносились голоса, слышался веселый женский хохот. Я постучал и вошел. Это была приемная начальника. Мужчина-майор сидел за столом, заставленным телефонными аппаратами, женщина-капитан — в кресле напротив. Они разговаривали о чем-то веселом, и мне было неловко, что я им помешал. Похоже, майор — ответственный дежурный: телефоны то и дело трезвонят, он быстро поднимает то одну трубку, то другую, деловито отвечает. А звонят беспрерывно. Женщина, по-видимому, сотрудница отдела. Блондинка, с ярко накрашенными губами. Красивая. Видно, тоже собралась домой, да задержалась около майора.

Воспользовавшись паузой между телефонными звонками, я объяснил майору, по какому делу пришел.

— Начальника, к сожалению, нет, уехал домой.

— Вы бы не могли позвонить ему? Майор замялся:

— Вообще-то звонить ему на квартиру, не положено. Но, поскольку вы прибыли издалека, попробую.

И позвонил.

— У меня тут писатель, о котором вы вчера упоминали, — негромко сказал майор в трубку, обратившись к начальнику по имени и отчеству. — Просит разрешения всего два дня еще поработать в библиотеке музея. По-моему, стоит ему помочь, а? Тем более этой библиотекой может пользоваться любой житель Бахчисарая...

— Любой житель?.. — Я хорошо слышал в трубке хрипловатый голос начальника: — Но вы забываете, что этот так называемый писатель не житель Бахчисарая! Он крымский татарин! Я приказал Бахчисарайскому райуправлению, чтобы его сегодня же вместе с семьей выдворили из Бахчисарая! — От его последних слов меня словно обдали кипятком. «Вместе с семьей!» А я уехал, не заглянув в гостиницу. Как они там?.. В трубке же продолжал хрипеть голос: — Вы, как ответственный дежурный, проследите за выполнением приказа! — И посыпались частые гудки.

Обескураженный майор подержал еще некоторое время трубку в руках и тихо опустил на рычаги. Он хотел мне что-то сказать.

— Я все слышал, — признался я.

Во мне все кипело. Чтобы хоть как-то успокоиться, я направился к выходу, но тотчас вернулся:

— Позвольте, я сам позвоню ему?

— Нельзя! Поймите же... — прижал он пятерней аппарат. — Если каждый посетитель станет звонить начальнику домой, то что же это будет?

— В таком случае пусть сидит в служебное время в своем кабинете! — сказал я, переполненный возмущением. — Я к нему приехал по делу. Если бы для меня это не было столь важно, я бы плюнул на все и укатил в Ташкент, туда, куда меня выслали такие, как он. Но эти материалы мне нужны для работы. Понимаете, для работы!

Майор какое-то время молчал, стиснув зубы, на скулах у него вздулись желваки, потом он схватил трубку, набрал номер и, передавая трубку мне, быстро шепнул:

— Поговорите сами!

— Слушай, майор! Дай мне переодеться, мне необходимо срочно выехать в Севастополь! — пророкотал в трубке голос начальника.

— Это не майор! — сказал я. — А так называемый писатель, о котором с вами только что говорил майор!

Ошарашенный моей наглостью, начальник, по-видимому, опешил, я слышал, как он шумно дышит, и вдруг он так заорал, что голос его перешел в визг:

— Кто вам позволил звонить мне домой?!

— Я сам себе позволил, — сказал я, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. — Хочу объяснить, сколь серьезна для меня эта работа. Я получил разрешение секретаря обкома партии...

— Эй, ты-ы!.. — заорал он. — Если ты немедленно не уберешься со своим семейством за пределы Крыма, то я прикажу выставить вас отсюда под дулами автоматов! Я не шучу! Ты меня поня-а-ал?! Я положил трубку. Можно было не сомневаться, что он не шутит. Я глянул на майора. Он смущенно развел руками: ничего, дескать, не поделаешь — начальство!

Поблагодарив его за сочувствие и желание мне помочь, я откланялся. Троллейбусом я доехал до Севастопольского шоссе, которое проходило мимо Бахчисарая. Но тут мне долго никак не удавалось «поймать» попутку. А может, мне показалось, что долго: я слишком торопился к Фатме и дочери, и каждая минута казалась мне часом. Наконец, остановилась голубая санитарная машина с белым крестом на борту. В кабине было тепло, играла музыка. Голова у меня была занята одним, не хотелось ни о чем разговаривать. Водитель же, пожилой человек, оказался не из молчунов. На чем свет стоит ругал крымских начальников за бездарное руководство хозяйством. Да и те, кто считает себя специалистами, не понимают ни бельмеса; который год пошел, как живем без татар, а они все в местных условиях разобраться не могут... Посадили на нескольких тысячах гектаров виноградные чубуки¹. Год ждут, второй, третий, а чубуки не растут, но и не засыхают... Только теперь выяснилось, что чубуки-то эти посадили наоборот, вверх тормашками...

— Приехал вчера Подгорный, разъезжает по Крыму, выясняет, кто виноват, — сказал водитель, коротко хохотнул, потом вздохнул: — Татары знали в виноградниках толк...

Заходящее солнце осветило красные черепичные крыши Бахчисарая, макушки белых остроконечных минаретов. В глубине старых узких улочек сгущалась вечерняя синева. Я спешил, спотыкаясь, по булыжной мостовой, почти бежал. Однако ни Фатмы, ни Диляры в гостинице не застал. «Поступило распоряжение, и мы их выселили», — спокойно заявила администратор, глядя мне в глаза и улыбаясь. «Куда же они ушли?..» Она пожалала плечами.

¹ Чубук — черенок.

Я нашел жену и дочь во дворе ханского дворца. Они сидели на скамье под деревьями и ждали меня. Мария Георгиевна тоже была с ними. Глаза у нее были заплаканные.

— Слава Аллаху, что я вас нашел! — вздохнул я с облегчением.

— Вам пришлось искать? Почему? — удивилась Мария Георгиевна. — Я же предупредила администратора гостиницы, что они будут здесь!

— Я ее не видел, — солгал я, чтобы не расстраивать и без того взволнованную женщину и стараясь казаться веселым: — Ну, мои дорогие, пора в путь!

— Зачем же, сегодня останетесь у меня. Солнце уже зашло, — сказала Мария Георгиевна, скользнув взглядом по погасшей, словно свеча, макушке минарета.

— Ничего, завтра все равно взойдет. И застанет оно нас скорее всего в пути!

Следовало поторапливаться. Дорога предстояла неблизкая. И опять — туда. Когда же обратно?